

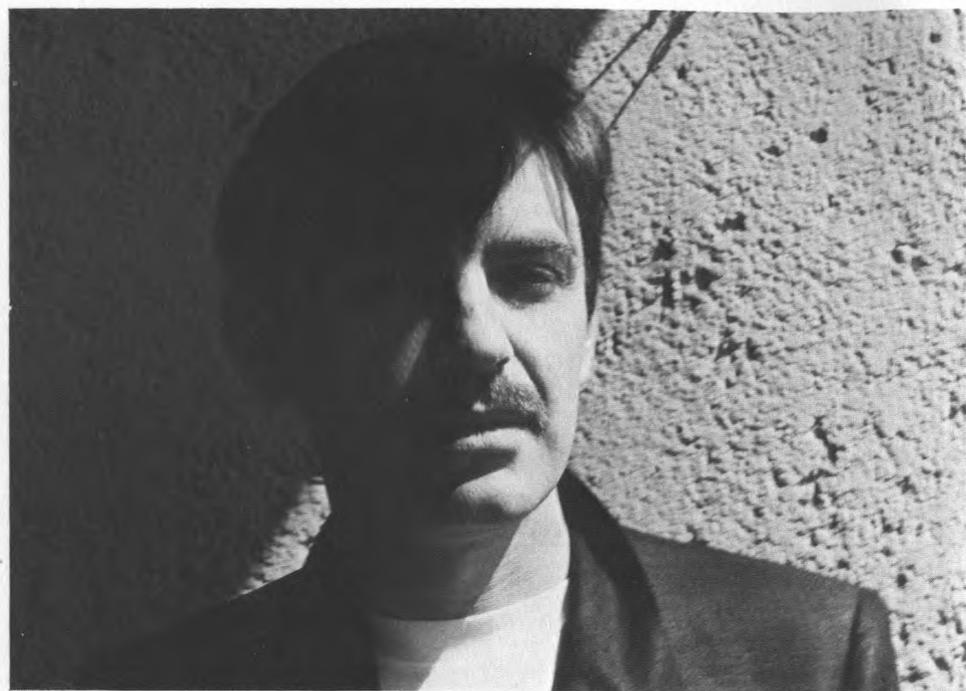
С. Юрьенен

СЫН
ИМПЕРИИ



PG
3482
U74
S96
1986





Сергей Юрьенен

**СЫН ИМПЕРИИ,
*ИНФАНТИЛЬНЫЙ РОМАН***

Ardis, Ann Arbor

Copyright © 1986 by Sergey Yuryenen
All rights reserved under International and Pan-American
Copyright Conventions.
Printed in the United States of America

Ardis Publishers
2901 Heatherway
Ann Arbor, Michigan 48104

Library of Congress Cataloging in Publication Data
IUr'enen, Sergei, 1948—
[Syn imperii]

I. Title.

PG3482.U74S96 1986 891'73'44 86-1081

ISBN 0-87501-002-4

ISBN 0-87501-003-2 (soft: alk. paper)

В Петербурге мы сойдемся снова,
Словно солнце мы похоронили в нем,
И блаженное, бессмысленное слово
В первый раз произнесем.

Мандельштам



В НАЧАЛЕ БЫЛО СЛОВО

Был месяц май Пятьдесят Первого, и Августе было 14, а ему три. Мама сняла мансарду у Финского залива.

Они пошли в лес без мамы. Вдруг Августа тихо сказала:

— За нами идет мужчина. Не оглядывайся.

Он оглянулся. Это был солдат. Сапоги его были бесшумны во мху, а в руке он сжимал пилотку.

— Это же солдат! — обрадовался Александр.

Солдат резко шагнул в сторону и пропал, спрятавшись за стволом.

— Бежим! — рванула его Августа.

Треск сучьев гнался за детьми, но они убежали. Все кругом было тихо, когда они отдышались. Где-то постукивал дятел. Было сумрачно, сыро, и полным-полно цветочков.

— Это ландыши, — сказала Августа. — Серебристые ландыши!

— Они белые, — возразил Александр.

— Ничего ты не понимаешь. Давай наберем букет для мамы.

— Давай.

Цветочки пахли кислой сыростью. Ему больше нравился мох — изумрудный, мягкий, как мех невиданного зверя, и топко-сырой под коленями. Он ушел на коленях далеко. Потянулся за цветочком, и вдруг колючка ржавая вонзилась в рубашку. Он дернулся, порвал рубашку. Двумя пальцами приподнял тяжесть колючей проволоки и оказался на солнечной прогалине. Цветов тут было видимо-невидимо, и колокольчики на них крупней.

— Августа! — позвал он, увлеченно срывая цветы. — Ау-у!

За спиной вдруг раздался шип по-змеиному.

— Алекс-андр...

Он оглянулся.

— Замри! — хрипло скомандовала сестра, и он замер. — Теперь давай назад, но смотри у меня: чтобы след в след!..

Он вернулся, вставляя колени в свои сырые ямки.

Сквозь еловые лапки высунулась рука Августы с обгрызанными до розового мяса ногтями. Приподняла проволоку, и он перекатился обратно, в тень.

Рывком Августа подняла его и потащила так, что лес исхлестал его неизвестно за что. Он только закрывал лицо. Потом он отнял от глаз руки.

Перед ними под солнцем высилась насыпь узкоколейки.

Августа втащила его на насыпь и посадила на рельсу. Села рядом и ткнула пальцем вниз.

— Видишь надпись?

Туго натянутые ряды колючей проволоки выползали из лесу, наматывались на столб и дальше, на столбах, тянулись вдоль насыпи далеко-далеко. К третьему по счету столбу был приколочен дощатый щит. На нем было написано что-то — черными, прерывистыми буквами. Грозными на вид.

— Вижу, — сказал Александр.

— Читай!

— Я же не умею! — возмутился он.

— Научишься! Буквы знаешь? Знаешь. Вот и давай, складывай!

Рельса была теплой. Он крепко взялся за металл, вздохнул и начал складывать. После длительного мозгового усилия он подытожил:

ЗАПРЕТНАЯ ЗОНА МИНЫ

— Ну?

— Чего «ну»?

— Сложил вот.

— И радуешься, да? А радоваться тут нечему. Что это такое «мина», знаешь?

Он потупился. Узкоколейка заросла вся розовым и лиловым бархатом «львиного зева». Он знал, он даже знал, что у нас уже есть Атомная Бомба, но обо всем об этом имел все же туманное представление.

— Наступил бы на нее, раз! и ничего бы от тебя не осталось. И что тогда?

Он сорвал «львиный зев», путем нажатия раскрыл ему пасть и залюбовался, вспомнив Самсона в Петергофе. Августа вырвала цветок.

— Отвечай!

— Ничего тогда.

— То-то и оно! Тебе ничего, а мне потом возвращаться! Как бы я маме в глаза посмотрела? — Августа придвинулась, натянула сарафан на свои худые коленки с преждевременно содранными болячками и обняла Александра. — Нет, — сказала она. — Не вернулась бы я.

— Куда бы ты делась?

— А удавилась бы в лесу! Как вон Надежда-почтальонша. Или не знаю... В Финском бы заливе утопилась. — Августа понюхала свои ландыши и дала понюхать ему. — Все-таки как они *серебристо* пахнут, скажи? Я бы даже сказала: благоухают.

— Финский залив слишком мелкий. А утонуться — у тебя веревки нет.

— Я ему про Фому, а он мне про Ерему.

Тогда он встал из-под ее руки и показал Августе с насыпи вниз, за ряды колючей проволоки.

— Там, где я был, — сказал он, — они еще серебристей.

Августа положила между ног увядший букетик, наклонилась, сняла свои сандалеты и высыпала сквозь узорчатые их дырочки белый тонкий песок. Вдела ноги и снова сняла, чтобы выбить об рельсу.

— Запретная зона, Александр, — сказала она, — это запретная зона. Запомни у меня раз и навсегда. Заруби себе на носу, если хочешь остаться цел! Пошли...

ЕЕ РОЗОВЫЕ ТРУСЫ

Августа сняла свой сатиновый пионерский галстук с концами, скрутившимися в стрелки, сняла черный фартук, стащила через голову темно-коричневое форменное платье; и Александр увидел, что розовые ее трусы, только недавно заштопанные мамой на шляпке деревянного грибка, опять просвечивают попой и к тому же в рыжих пятнах мастики. Августа ходит в среднюю школу девочек — напротив Театра Ленинского Комсомола. На переменах там шайка девочек сбивает Августу на пол и, схватив за ноги, возят из конца в конец по скользкому коридору. Сколько раз ей говорили: защищайся, не давай себя в обиду. А она опять дала.

— Это что у тебя с трусами?

Августа захлопнула ладонями свои дырки и повернулась к нему, бледная:

— Только маме не говори!..

Александр, однако, накопил зла, что не дает ему Августа перед сном слушать репродуктор, а уроки зубрит невнятно бубня — так, что ничего не различить. Н а р о ч н о. И он вырвался из тисков ее худых рук.

Мама стирала в ванной. За ней уже была занята очередь на стирку, и она торопилась: изо всех сил натирала о гофры терки, об эти волны из оцинкованной жести, взмыленное, хлюпающее, сердито попискивающее белье.

— А Августа трусы порвала! — осведомил Александр, испытываю ожог мстительного наслаждения.

— О чем ты, сынуля? — Тыльной стороной ладони мама сняла со лба прилипшую прядь.

Он повторил, и выражение на мамином лице обезобразилось гневом. Она упруго разогнулась и закричала:

— Как, опять?!

Он попытался, захлопнув себе рот. Но было поздно. Слово вылетело.

Страшной ведьмой — волосы во все стороны — мама влетела в комнату. В правом углу была печь — толстая, как под Музеем Атеизма (Казанский собор) колонна. До потолка. Обитая листами гофрированной жести. В угол между боком этой печи и стеной и забилась Августа. Ноги ее изо всех сил упирались в пол, и, глядя исподлобья, она пыталась откусить еще ногтя — с большого пальца.

— Руки изо рта! — крикнула мама.

Спрятав руку за спину, Августа буркнула:

— Врет он все.

— Ах, врет?! — Рывком мама вытащила Августа из-за печи, рывком задрала ей подол и своими глазами увидела, что Александр показал правду, только правду и, кроме правды, ничего. Мама присела на корточки и, царапаясь, как кошка, спустила с Августа трусы.

При этом Августа, прикусив ноготь, смотрела в окно.

— А ну, ногу подними! Да пошевеливайся!..

Августа оторвала ногу от пола.

— И эту тоже!

Приподняла и эту.

Мама вскочила и растянула под глазами дыры на трусах Августа. Крикнула:

— Ну, погоди у меня, дрянь!..

И хлопнула дверь, оставив их наедине.

Августа только и спросила, не обернувшись:

— Рад, да? Стукач малолетний!

Окно выходило в колодец тесный. На фоне облезлых до кирпичей стен спиралью свивалась метель. Справа в этом колодце стены не было, и в эту щель видно было, что там, снаружи, еще светло.

Под зеленым светом настольной лампы Августа зубрит урок на завтра. Из учебника «Логика». И на этот раз — внятно.

— Перестань, надоело! — говорит Александр.

— Ты же ведь клянчил? Так на, обожрись, яй-абеда!.. *«Меня пленила, говорил И.В.Сталин, та непреодолимая сила логики в речах Ленина, которая несколько сухо, но зато основательно овладевает аудиторией, постепенно электризует ее и потом берет в плен, как говорится, без остатка. Я помню, как говорили тогда многие из делегатов: «Логика в речах Ленина — это какие-то всесильные щупальцы, которые охватывают тебя со всех сторон клещами, из объятий которых нет мочи вырваться. Либо сдавайся — либо решайся на полный провал». Необычайная сила убеждения, логичность и ясность речей В.И.Ленина и И.В.Сталина являются выражением того глубокого смысла, богатство содержания которого заложено в этих речах».* * Хватит, или еще?

— Хватит.

— То-то же. И больше ко мне не лезь. Еще назубришься, когда в школу пойдешь.

— Щупальца, — спрашивает Александр, — это у осьминогов руки?

— У осьминогов. Да!

*«Логика». Учебник для средних школ. Министерство просвещения, Москва, 1950.

- В Фонтанке осьминоги водятся?
- Нет.
- А в Неве?
- Нет.
- А в Финском заливе?
- Нет.
- А в Балтийском море?
- Осьминоги водятся только в теплых морях, которые далеко.
- А вдруг, — пугается он, — какой-нибудь один по трубам канализации у нас в уборной всплывет?
- А тебе-то что? Ты же на горшок ходишь.
- Хорошо бы он под Матюшиной всплыл. Охватил бы ее — и обратно, — говорит он. — По трубам...
- Хорошо бы! — Августа смеется в кулак, потом спохватывается: — А теперь отстань со своими фантазиями, а? Меня бить еще будут, а я уроки не выучила. Спи!
- А если мне не спится?
- Так фантазируй про себя!..

Чтобы избить Августу, маме приходится дожидаться ночи, когда с кухни все разойдутся и запрутся у себя в комнатах. Тогда мама приоткрывает дверь:

— А ну, пошли!..

Августа встает из-за стола и выходит. Она закрывает за собой дверь комнаты, а мама закрывает дверь из кухни в коридор. Но удары — мотком бельевых веревок — все равно просачиваются. По русской пословице, сор из избы выносить нельзя, поэтому сначала они обе — мама и Августа — молчат, но удары все сильнее слышны, и Августа начинает взвизгивать. В животе Александра оживает как бы крыса — как в китайской изощренной пытке, о которой рассказал ему дед, еще в Прежние Времена побывавший юнкером-практикантом на сопках Манчжурии. Крыса начинает выгрызать его изнутри, и он двумя руками под одеялом зажимает то, что — «распетушь», называет бабушка, а мама: «твое хозяйство» — находится, нежное, между ног.

«Ой, мамочка! — доносится с кухни. — Ой, миленькая! Ой — больше в обиду не дамся! Это же все они, девчонки!..»

«Не оправдывайся, дрянь! Будешь оправдываться, насмерть запорю! Вот тебе за трусы! Вот тебе — что ногти изгрызла! Вот тебе! за «уд» твой по родной литературе...»

Так кричит мама — и выкрикивает из Большой Комнаты грузные шаги бабушки.

Втолкнутая, ударяясь об углы, влетает в комнату Августа и,

всхлипывая, начинает сразу же раскладывать свою раскладушку из алюминиевых гнутых трубок, между которыми кое-где оторвался от пружинки натянутый брезент. Будильник она уже завела на семь. Она старается не греметь, прислушиваясь к тому, как на кухне мама кричит:

«Не вмешивайтесь в воспитание! Не имеете права! *Мой* ребенок, а вам даже не внучка!»

Августа с повышенной старательностью вешает свое домашнее платье на спинку стула и поворачивается, зажав подолом майки, золотистый пушок у себя между ног.

— А все из-за тебя... Ты что это там делаешь, развратник?! А ну, руки на одеяло!

По одной, она выдергивает его руки из тепла и складывает их у Александра на груди.

Перед тем как закончить вмешательство в чужие дела, бабушка говорит:

«Креста на тебе нет, Любовь!»

И уходит.

Александр торопливо зажмуривается. Входит мама.

А Т Р И Б У Т Ы

«Его хозяйство», которое он носит на себе, брать в руки можно только маме. Не ему.

Крестик в руки брать можно, но носить на себе нельзя.

«Его хозяйство» (или, что веселей, «распетушье») болтается в его коротких и на лямках штанишках, перепрыгивая там внутри — на бегу — то налево, то направо от шва, тогда как крестик от Александра, золотой, спрятан в Большой комнате. Он спрятан многоступенчато сложно — как в сказке иголочка от жизни злого Кашея Бессмертного. Он, крестик, спрятан в старинном гардеробе зеркальном, в верхнем выдвижном ящике, под стопкой белья, под двумя белыми и кружевными рубашками, в которые оденут, во гроб укладывая, бабушку с дедушкой, когда они о т м у ч а ю т с я. На самом дне там хранится использованный спичечный коробок, на этикетке которого — боевая Красная Звезда, а внутри, между ватками натолкнутыми, он...

— Ты у нас крещеный мальчик, — напоминает дедушка, глядя по голове.

При этом Александр опускает глаза, потому что его охватывает стыд за связь с Богом.

Мама учит, что никакого Бога нет, тогда как дедушка — что все и все мы в Боге, Который есть Любовь, включая избирательный блок коммунистов и беспартийных. Он, мальчик, ощущает, что дедушкин охват пошире будет, но... Потому что мама говорит еще, что в Бога верят только отжившие свое люди. Ему же, мальчику, — жить и жить (если иголок глотать не будет). Он, мальчик, столь вдали еще от смерти, что никакой смены белья на случай ее для него не запасено. Поэтому не знает он, как быть ему с Богом, и равную вину перед мамой испытывает и перед дедушкой, входя к которому, он избегает поднимать глаза на правый дальний угол, откуда днем и ночью, озаренный лампадкой лиловой (там огонек в масле плавает) Бог строго наблюдает грешную сию жизнь, в которой мучаются все, кроме него, мальчика.

ПОКУШЕНИЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ВЛАСТИ

С черного хода, — он прямо из кухни, — мама вынесла на лестницу оцинкованный таз с бельем, и Александр вышел следом. Он взялся за холодные прутья перил, просунул голову и посмотрел на дно пропасти в семь этажей. Чем дальше он туда смотрел, тем неудержимей хотелось ему вывалиться. Слюна этого желания наполнила рот, он уронил плевков — всунул голову обратно и наперегонки с плевком бросился вверх по ступенькам. Поворот, еще один, марш вверх — к чердачной площадке...

Слабый звук плевка его опередил.

Он переступил порог. На чердаке гудел ветер, прорываясь в узкие вентиляционные бойницы. Мама влезла под балку, намотала там принесенную с собой белую веревку (оставлять нельзя, своруют), и вот уже оттуда захлопал, пытаюсь оторваться, любимый мамин лифчик, вывезенный из Германии, где, угнанная врагом в рабство, она всю войну проработала в «арбайтслагере», но об этом никому нельзя говорить.

В сумрачном дальнем углу стоял большой дощатый ящик с песком — на случай пожара. А на случай новой мировой войны, которую вот-вот разожгут Соединенные Штаты Америки с помощью Англии и Франции, за ящиком были надежно спрятаны железные клещи, которыми дедушка Александра во время блокадных бомбардировок хватал немецкие зажигательные бомбочки. Маленькие, они насквозь прожигали крышу, но на чердачном полу он, дедушка, их — р-раз — и схватывал в клещи, после чего относил в песок. Где какая-нибудь случайная, может быть, и затерялась. Оглянувшись на маму, — мама увертывалась от ударов белья и ей было не до него, — Александр погрузил руки до запястьев в мерзлый, а потом сырой песок. В разных местах втыкал он свои руки в ящик, но бомбы так и не нашел. Вот если бы лопату. Он нахлобучил шапку поплотней, поднял воротник шубы, втянул руки в рукава и, переминаясь на месте, похрустывая щебнем, огляделся.

Вместе с порывами ветра сквозь белую дыру окна влетали снежинки. Большинство уносилось сквозняком, но отдельные отпаладали и, красиво кружа, опускались медленно вниз. Александр стал ловить снежинки. Поймав, он их слизывал с ладоней. Потом он вытер руки, взялся за занозистые бока деревянной лесенки и полез вверх, к дыре.

В лицо ему ударил ветер, но он удержался. Потом ветер отпал, оставив на лице ожоги снежинок, и Александр, взявшись за кирпичи кладки, высунул голову.

Было высоко. Так, что над крышей дома напротив, всеми окнами глядящий в колодец двора, Александр увидел намного более высокую, но удаленную крышу углового дома между улицей Рубинштейна и Загородным проспектом. Угол этого дома был срезан, и там, внизу, невидимая отсюда, помещалась театральная касса, где можно взять билеты в любой театр Ленинграда. Но вот на что он никогда снизу не обращал внимания, это на то, что крышу того дома подпирают рельефно-мускулисто оживающие из стен статуи бородатых фавнов с рожками. Они подпирали карниз крыши своими могучими руками, корча самые разнообразные гримасы, — то жуткие, то смешные, — никем — из-за тесноты улицы под ними — невидимые. Там, под ними, опустив головы, люди муравьями разбегаются из подворотен в магазины и сбегаются обратно в подворотни, не зная, что над ними гримасничают бородачи.

Только он, Александр, об этом узнал.

От этого он себя почувствовал — не Богом, нет, но что-то переполнило его, ощущение некоей Силы. И он опустил голову, чтобы увидеть свой собственный дворик.

На дне стояли мусорные баки, занесенные снегом, а подальше от баков, прямо под Александром, головами друг к другу сошлись три фигуры. И он их опознал, Александр. Это были нехорошие люди. В сером шерстяном платке была Уполномоченная, в синей ушанке — Участковый, а в черной кожаной — дворник Африкан Африканыч. Постукивая своим скребком, он там, на дне, явно ябедничал Уполномоченной и Участковому на Космополитов. Стучал. Несмотря на свое имя-отчество, Африкан Африканыч был огненно-рыжим. И волосы, и борода, и даже пестрое веснушчатое лицо. Весь. За исключением зеленых глаз. Поверх овчинного тулупа он надевал белый фартук, а на грудь фартука прицеплял начищенную медную бляху. Бляха эта много власти давала ему над жильцами. Так, когда Африкан Африканыч был не в духе, недопив, он вышибал ногой дверь дворничьей внизу, брался за перила и, задрав свою рыжую бороду кверху, орал в пролет, как в трубу: «КОСМОПОЛИТЫ! ЖИДОВЬЕ ПРОКЛЯТОЕ! ОБРАТНО РАССЕЮ ПОГУБИТЬ ЗАДУМАЛИ? ИШЬ, ЗАТАИЛИСЬ, КАК КЛОПЫ.. ИШШО СОРВУТ С ВАС МАСКУ! ИШШО ПОПРУТ ВАС ИЗ ГОРОДА ЛЕНИНА К ЕБЕНЕЙ МАТЕРИ!» На другой день после этих страшных криков сын его Африкаша обходил сверху донизу все квартиры на лестнице, собирая с жильцов «на лампочку». В квартире Александра «космополитов» не проживало, кроме того все знали, что и на этот раз Африкан Африканыч пропьет давно обещанную лампочку, поправляя голову, — но все давали тоже. Почему? Потому что у дворника есть Домовая Книга, где о каждом все, что тот скрывает, записано. И про дедушку. И про маму — что на Оккупированной

Территории была. И поэтому с улыбкой извинения что больше не может мама даже не на лампочку, а всякий раз сует Африкан Африканычу в карман фартука рублевую бумажку, а он и «благодарствуйте» не говорит, так, сквозь зубы цедит: «Ладно уж, живи покуда... Когда на чаек-то зайдешь, а? А то, смотри, выкипит чайничек да распаяется...»

Не нужен нам твой чай, Африкан Африканыч. И будем мы жить не «покуда», а вечно. А вот тебе — стоит ли жить? С этой мыслью или, вернее, ощущением Александр вынул из разошедшейся кладки правый кирпич и поставил его на средний. Слева вынул и третьим водрузил. А потом, поднатужившись, вытолкнул из окна всю стопку.

Каждому по кирпичу.

Глянул на хохочущих фавнов, спустился с лесенки и, вытирая ладони, пошел к выходу с чердака — параллельно маме, которая хрустела по ту сторону балки, окликая его.

— Ты где это был? — увидела его мама.

— В песке играл.

Они вышли на лестничную площадку. Мама закрыла дверь, но запереть висячий на ней замок не успела: пролет вдруг наполнился криками и топотом людей.

— Что там случилось? — перегнулась мама над перилами, а он, Александр, взялся за прутья и тоже стал смотреть вниз.

Оттуда к ним, с ужасом на них снизу глядя, взбегали по лестнице люди, а впереди всех участковый с наганом наготове, дворник Африкан Африканыч со скребком наперевес и Уполномоченная, которая, запрокидывая белое лицо, кричала, как ворон:

— Терракт! ТЕРРАКТ!..

Живые и невредимые. А за ними хлопали двери, кричали жильцы, оповещая тех, кто еще не понял, что на чердаке укрылся Террорист, — и все бежали следом, раскачивая перила и грохоча так, что еще немного, и все мы рухнем в пролет.

Участковый взбежал первый, задыхаясь, скомандовал: «В сторону, гражданка!..» и — наганом к двери — распластался по стене. Он стоял, как распятый, и переводил дыхание, а люди, набившиеся на последний марш, смотрели на него. Потом участковый ткнул пистолетом в проем двери.

— А ну выходи!

Все молчали, слушая, как на чердаке хлопает белье.

— Есть там кто? — крикнул Участковый.

— Никого там, — ответила мама. — А что?

— Только что, — взглянул он недобро на маму, — кто там был?

— Никого, кроме нас с ребенком. А что, собственно, произошло?

Участковый — наганом вперед — переступил порог, похрустел там минут пять, вышел, всунул наган в кобуру и утер лоб. Потом

повернулся к маме:

— Кирпичи кто кидал?

Мама перехватила пустой таз.

— Какие кирпичи?

— Такие, — сказал Участковый. — Которыми нас чуть не пришибло.

— А это знаете, гражданка, как классифицируется? — закричала Уполномоченная. — Как покушение на представителей Советской власти! При исполнении служебных обязанностей!.. Субъекты твои, Африкан?

Зелеными глазами рыжий дворник взглянул на Александра.

— Мои.

— Будешь понятым! — назначила его Уполномоченная. Таз вырвался у мамы из рук и загрохотал вниз по ступенькам, отжимая жильцов к стене. Никто его не осмелился подобрать, когда таз утих.

— Я ничего не знаю, — сказала мама. — Я белье вешала...

— В другом месте, — прервала ее Уполномоченная, — будете объясняться! Ну и что с того что «вдова»? Что с того, что «посмертно»? — обрушилась она на дворника, пытавшегося ей что-то нашептать. — Закон для всех един! Как в Древнем Риме говорили, суров закон — но Закон. Товарищ старший лейтенант Мышкин, прошу оформить протокол!

При слове «протокол» жильцы утратили любопытство и стали удаляться, обходя или осторожно переступая оцинкованный таз.

— Оформить-то недолго, — сказал Участковый по фамилии Мышкин и снова ушел на чердак.

Дворник за ним.

А мама потупилась под свинцовыми глазами Уполномоченной.

— «Посмертно!» — не выдержала Уполномоченная. — Моего, может быть, тоже посмертно!.. Но его дети у меня кирпичи на головы представителей не бросают!

— Так это ты?! — вскричала мама, нависая над Александром. — Ты меня под монастырь подвел?

— Ничего себе «монастырь!» — сказала Уполномоченная. — Тут тюрьмой пахнет!..

— Слышишь?

Она наступала с искаженным лицом, а он пятился назад — пока решетка перил не остановила. Тогда он повернулся боком, пролез туда...

— А-ах! — нуло всё.

...и остановился на выступе, взявшись за прутья. Над пролетом в семь этажей.

— Сашенька... — Там, за прутьями, мама села на корточки. — Иди сюда.

Он покачал головой.

Уполномоченная смотрела на него сквозь прутья, открыв рот, полный золотых зубов.

С чердака на площадку вышли Участковый Мышкин и дворник Африкан Африканыч.

— Ветрище там будь здоров! — сказал Участковый Мышкин и увидел Александра.

Дворник тоже увидел и аж крикнул. . .

— Вот я и говорю, — нарушил паузу Участковый, — что кирпичи те, видимо, сквозняком и выдуло.

— Что точно! — поддержал дворник. — Кладочка-то, считай, столетняя.

Уполномоченная ничего не сказала. Повернулась и пошла вниз, разгоняя своим видом последних любопытных жильцов.

— Ну? — подзывала мама из-за прутьев. — Иди, сынуля...

— А нас не оформят?

— Не оформят, не бойся... Давай.

— И в тюрьму не посадят?

— Ну что ты! Тетя пошутила.

Он толкнулся плечом обратно, и мама, сунув руки сквозь прутья, вытолкала его на площадку и больно прижала к себе, к поредевшему ожерелью деревянных прищепок.

— Ты это, Любовь батьковна... — донесся голос дворника. — Спустишься потом.

— На чаек? — недобро усмехнулся голос мамы.

— Чаек с кем другим будешь пить. По поводу прописки мне с тобой потолковать надо. Ясно?

К ужину мама возвращается. Толчком спины прикрывает дверь, расстегивает шубу, разматывает шерстяной платок.

— Уф-ф! — говорит. — Ну, кажется, пронесло!..

На коммунальной кухне зажжены обе газовых плиты, и снег на маме тает, унизывая всю ее радужным сиянием. Из-под железного крыла теплой, бабушкиной плиты Александр смотрит на сияющую маму.

— Взял? — спрашивает дед.

— Взял.

— Все триста?

— Ага! «С другой бы, говорит, всю тыщу за такое слупил, но, учитывая многодетное положение...» Спасибо вам огромное, Александр Густавович! Я вам отдам, вот клянусь!..

— Чего уж там, — говорит дед. — Ну, и хам! — говорит он. — Правильно в свое время литератор Мережковский предсказывал:

«Грядет Великий Хам!» Но его не расслышали. Увы!

Соседка Матюшина от своей плиты подает сиплый прокуренный голос вокзальной диспетчерши:

— «Пронесло», говоришь. Может быть, и так. На *этот* раз. А что он у тебя в следующий раз натворит, а? Яду крысиного мне вот в эту кастрюлю подкинет? Газу напустит и с одной спички весь дом подорвет?

— Не подорвет он.

— А *если*? Где гарантия? Да и кто в нее поверит, если он уже кирпичи в ход пускает?

— Ох, — говорит мама, — даже не знаю... Ну, а что мне с ним делать? Можно бы, конечно, в детсад попытаться его определить, так еще хуже: из болезней вылезать не будет. Просто голову не приложу.

— Ты спрашиваешь: «Что делать?» А я, — говорит Матюшина, — тебе скажу. Прежде всего огради от тлетворного влияния! А то его еще и не тому научат. Те, по которым Большой Дом еще с Октября Семнадцатого плачет!..

Дедушка гасит папиросу в ракушке, — это Александр видит по бряканью над своей головой, — бабушка снимает с плиты вскипевший чайник — и уходят с кухни.

— Сочувствую тебе, Любовь! — сипит Матюшина. — Связала же тебя судьба-злодейка! Это же — прямо не знаю... Клубок змей! Банда Теккерей! Ну, взглядишь сама: каково их политическое лицо?

— При чем тут они...

— Сын? Так не они его, его Партия воспитала, товарищ Сталин его окрылил! А они теперь им прикрываются, купоны с героической смерти стригут.

— Извини, но...

— Нет, это ты меня извини, но я, ты знаешь, привыкла правду-матку! Невзирая там на якобы родственные связи! Свекровь твоя — просто-напросто ханжа набожная, ну а теть... Чего там говорить? Сама каждый вечер слышишь, как он тут топчет в грязь все советское. Кровное наше топчет! Завоеванное! Эх, Любовь, Любовь! Беззубая ты! Попались бы они мне, я бы уж себя не дала загнать в эту каморку. Я бы у них Большую комнату отсудила. Да что там! Попадись они мне, я бы их выперла вон из Ленинграда!

Александр больше не выдерживает.

— Тебя саму выпереть надо! — кричит он, выскакивая из-под железного крыла. — Ты после Блокады дедушкин кабинет оккупировала!

— А ну марш в комнату! — кричит мама.

— А еще ты через банку трехлитровую дедушку подслушиваешь! Вот отрежешь себе ухо — погоди!

Матюшина ноль внимания.

— Плоды воспитания, — говорит Матюшина. — Любуйся! Заступника себе готовят. Мстителя юного. У, террорист малолетний!

Она замахивается супным половником, но мама, опережая, хватывает за ухо орущего Александра, выволакивает из кухни, где торопливо гладит по голове, давая понять, что это не всерьез, а напоказ, для Матюшиной, — открывает дверь комнаты и дает пинка коленом.

Влетев в комнату, Александр тормозит себя за скатерть, утаскивая из-под глаз Августы учебник «География».

— Ты чего это? — Августа подтаскивает учебник обратно.

— Фашистка!

— Кто?

— Тюха-Матюха проклятая!

— Конечно, фашистка. Ты что об этом только сегодня узнал? — И, зажав ладонями уши, Августа снова уходит с головой в учебник.

Он взбирается на подоконник и прикладывает горящее ухо к холодному стеклу.

— ...но это грубая ошибка (бубнит сестра). *Географическая среда не является существенным признаком, определяющим характер того или иного общественного строя. Так, например, климат в нашей стране и климат в США различаются незначительно, однако, как мы знаем, развитие общественного строя в США отстало от развития общественного строя в СССР на целую историческую эпоху...*

За окном, в колодце каменном, взвивается, бьется и воет ночная пурга.

Он бросает взгляд направо, на окно кухни. Оно обморожено по краинам, а в центре, освещенная тусклой лампочкой, ведьма с короткой стрижкой и озлобленным лицом неслышно разрезает рот, размахивая в такт оловянным половником.

ГОЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ

Из школы девочек Августа приносит весть о том, что в бане сегодня женский день.

Я пользуюсь случаем показать, как хорошо дается мне раскатистое русское «р»:

— Ура! ур-р-ра! — и бросаюсь за давно немывтым резиновым Мамонтом.

— Пора ему уже с мужчинами ходить, — говорит дедушка.

— Где их взять-то, мужчин?

— Со мной бы тогда отпустила.

— С вами? Как же!.. Когда вы до баньки пиво, а после — прямо в шашлычную на угол.

— Национальный обычай, Любовь. После баньки — знаешь? — хоть укради да выпей.

— Вот я и говорю, Александр Густавович: с нами, оно верней. Пусть пользуется, пока возраст позволяет.

— Да возраст-то уже того... На лимите.

— Ничего, еще пока пускают нас, — говорит мама обо мне. — Мы ведь еще не понимаем ничего — да, сынуленька? Ну-ка посмотри мне в глаза!..

В ущелье улицы кружится снег. У винного магазина толпятся мужчины. Завидуя, что сегодня не их день мыться, мужчины кричат нам вслед разные глупости, на которые обращать внимания нельзя.

Мы сворачиваем в Чернышев переулок.

Перед входом в баню — длинная очередь. Как в магазине, но только здесь одни женщины.

— Вы нас не пропустите, — спрашивает мама, — с мальчиком?

— Еще чего! — отвечает очередь. — С мальчиком пусть папа ходит.

— Он же ребенок!

— Ребенок-жеребенок... Мы все тут с ребенками.

— Вы с девочками, а у него папы нет.

— У них тоже нет. В общем порядке, гражданка!

Мы доходим до конца очереди, и мама со вздохом прислоняется к облупленной стене. Напротив садик — за черной оградой. И мама отсылает нас туда с Августой — погулять. С трех сторон садик сдавлен глухими кирпичными стенами. Идет снег, и Августа стоит, а я гуляю по мерзлым кочкам среди кустиков. Прутья обледенели и хорошо отламываются. Кусочки прутьев я беру в рот, и на язык мне сползают трубочки льда.

— Александр!

— Что?

— Не бери в рот всякую гадость.

— Это не гадость. Это лед.

— Тем более. Нажрешься льда до бани, а потом ангину схватишь. От перепада температур. — Августа ежится, натягивает рукава на голые запястья и нескладно переминается с ноги на ногу. — Неужели тебе не холодно?

— Нет.

— Ничего, еще долго стоять. — Она шмыгает носом. — Придешь домой, спать ляжешь. А мне еще уроки зубрить на завтра.

— Про что?

— Про многое... Про Жанну д'Арк.

— Кто это?

— А я откуда знаю? Еще не выучила. Может, и не выучу: мне после бани спать охота. А завтра пару влепят, и тогда... — Августа вздыхает. — У меня еще после той порки синяки не сошли. Как раздеваться буду, просто не знаю. Со стыда сгорю... Ты нашу маму любишь?

— Я? Люблю.

— И я... Хотя мне иногда кажется, — говорит Августа, — что она не дурь из меня выбивает, а саму меня хочет убить.

— За что?

— Так. Лишняя ей я. Да и ты тоже. Из-за нас с тобой ей замуж никогда не выйти. Кто ее возьмет? Она, конечно, красивая, но двоетов при ней любого мужика отпугнут.

— А зачем он ей, мужик?

— Затем!.. Тебя в баню водить. Когда ты разбираться начнешь, что к чему в этой жизни проклятой. Не замерз еще?

— Нет.

— А я уже в статую превратилась. Пусть меня на постамент поставят в Летнем саду.

— В Летнем саду статуи голые.

— Да, — сказала Августа, — но даже их на зиму досками забивают. Иначе и они бы околели.

Мы оживаем уже внутри. Стоя на лестнице, мы подпираем стену. Когда сверху спускаются уже вымывшиеся женщины, очередь спрашивает:

— Какой там нынче парок?

— Ох, злющий! — с удовольствием отвечают женщины, и очередь начинает переживать, что, когда наконец достойтся, — пар подобрет, вода остынет, а веники березовые кончатся. А не

кончатся, так все густые разберут, а нам достанутся одни куцые.

Я сначала волнуясь вместе с очередью, но потом начинаю засыпать, и все становится безразлично. На каждой ступеньке стоишь так долго, что от тусклого света глаза сами слипаются, а от говора вокруг в голове сладко вязнет... Но как только я засыпаю, Августа поддает мне сзади, чтобы не зевал и скорее занимал освободившуюся выше ступеньку. Я перелезаю выше, и глаза снова закрываются.

Первый марш.

А потом — площадка.

Второй...

И вот, наконец! Впуская нас, туго открывается на пружине пухлая дверь, и мы окутываемся призрачным туманом предбанника. Как на вокзале здесь — ряды лавок, но только они белые и не скользкие, а приятно-шершавые. Слева и справа у лавки по шкафчику, а на спинке — посредине — овальное зеркало.

Дежурит сегодня здесь банщик Одоевский. Высокий надменный старик с красивой серебряной бородой и репутацией человека справедливого и честного. Банщик Одоевский запирает за нами шкафчики с нашей одеждой, потом он достает из кармана халата два алюминиевых номерка и надевает маму и Августу — голых. Симпатизируя нам, банщик выдает номерки со шнурками, и не с короткими, которые пришлось бы привязывать к лодыжке или запястью, а с длинными. Есть номерки без шнурков, которые как-то уже отвязались и смылись. Невезучие женщины, которым такие достаются, все время держат их в кулаке, а моются одной рукой. И это не мытье, а мука. Но что им делать, бедным? Номерок ни в коем случае нельзя терять. Потому что та, кто его найдет, откроет шкафчик и украдет твою одежду, а ты так и останешься, распаренная, — рыдая в голос и мочалкой прижимаясь. Видел я уже одну такую — раззяву.

— Спасибо, князь! — говорит мама.

— Да ради Бога, — говорит банщик. — Сейчас я вам шаечку...

— Разве он князь? — говорит Августа.

— Самый натуральный

— А чего он тогда тут делает?

— «Интернационал» учила? Кто был ничем, тот станет всем, — говорит мама. — И наоборот.

На манер крестов нательных надевают они на себя номерки, пробуя на прочность, потом мама пробует у Августы, не доверяя ей, которая оглядывается на банщика Одоевского:

— С такой внешностью ему бы на «Ленфильме» сниматься.

— Все о внешности думаешь...

Банщик приносит тазик из оцинкованной жести, который в бане называется почему-то «шайкой». Мама берет шайку за уши, и

Августа отворяет перед ней мокрую дверь.

Мы окунаемся в туман — такой жаркий, что меня пробирает озноб. Внутри гулко, толкотно, а пол такой скользкий, что еще опасней, чем лед. Я осторожно слеую в туман за тошим и пятнистым от синяков задом Августы, а в руках у меня мой Мамонт, который раньше пищал, но потом пищалка выпала. Зато теперь в Мамонта можно вливать воду и — как бы он писает — пускать струю. Мы подходим к страшным кранам. Из одного на мокрый камень бежит холодная вода, а из другого с шипением сочится пар — там кипяток. Мама отворачивает этот кран, наполняет шайку кипятком и с криком: «Берегись!» широко окатывает каменную плоскость скамьи. Я отбегаю, но брызги успевают ошпарить ноги. Мама ставит на скамью шайку, поменявшую цвет из светло-серого в синий, и это значит, что микробы убиты на этот раз с одного оката. В бане много микробов. Глазу они не видимы, но их можно запросто подхватить и остаться без носа. Это правда, я видел.

— Садитесь, дети! — кричит мама.

Я сажусь, кладу рядом мыло. Оно — как заводное на ключик — начинает ездить. И уезжает. Я пытаюсь поймать мыло, но оно ускользывает на пол, где его ускоряет поток мутной воды. На краю сточной дыры я отбиваю мыло в сторону и приношу обратно, но теперь мыло надо ошпаривать от г р и б к о в, которые, невидимые тоже, водятся на полу в изобилии, и если их подхватить — прорастут между пальцами ног, как ложные опята из пня. Впрочем, до такого размера грибки, кажется, не дорастают. Не видел еще ни у кого. Но кто его знает? Мыло — отпиленная дома волнистым ножом половинка черного бруска — постепенно смыливает с себя свои буквы. Мне их жалко, исчезающих, особенно «Я» — последнюю букву алфавита и первую на мыле «...ЯРНОЕ». С другой стороны, теряя буквы, оно уже не так больно гуляет по ребрам. Наскоро вымыв меня в четыре руки, мама с Августой начинают мыться сами, и это надолго за счет волос.

Я раздуваю водой Мамонта и увожу его на прогулку. Голые женщины интереснее, чем статуи в Летнем саду. Статуи все однообразно пугливы, а женщины...

Вот возникает из тумана бабушка-слон. Ноги такие толстые, что каждая стоит в отдельной шайке. А на ногах живот лежит, как спущенный дирижабль. На голове у бабушки мокрое полотенце, и она раскачивает им, как хоботом. И смеется, глядя на меня:

— Что, внучек, пора меня в зоосад? Заместо того слона, которого бомбой убило! А ведь я, как мама твоя была — веришь ли? Это в блокаду я распухла. Другие в скелетики превратились, а меня разнесло, что твоего мамонта. Пошел уже? Ну, Христос с тобою...

На другой скамье — девочка. Сидя, как лягушка, — в пипку себе

смотрит. Я присаживаюсь, и мы начинаем смотреть вместе. Пипка у нее алая внутри, как содранная ранка. За свое любопытство к себе девочка получает от своей матери по шее мочалкой:

— Ах, ты дрянь!..

А мы с Мамонтом ускользаем к душевым отсекам.

Вот женщина без ноги. Один костыль под душем мокнет, а она, опираясь о другой, намывает, приподняв, свою культю с нежно-розовым срезом.

Вот девушка — поет под водой и вращается, как юла. Это очень интересная девушка. Огненно-рыжая, зеленоглазая, вся в веснушках и вся — как сзади, так и спереди — расписанная голубыми картинками. На сверкающей радужно ее попе голубок пытается клюнуть голубку, но не достанет, а спереди, из рыжей сосульки-струи, как из корня, вверх по животу ее дерево вырастает, с веток которого, как яблоки, свисают румяные груди с крохотными алыми сосками. Сквозь воду девушка кричит сердито:

— Иди гуляй, пацан! Не в Русский Музей явился!

Налетает Августа.

— Чего ты на нее уставился? Это же бандитка! Не видишь, вся татуированная? Вот украдут тебя на фарш — будешь знать!

Во время Блокады некоторые от голода потеряли человеческий облик и превратились в людоедов. Сейчас уже голода нет, но, говорят, что не все еще людоеды смогли отвыкнуть от человечины, предпочитая таких аппетитных детей, как я. Кто ее знает? И я даю Августе утешить себя от интересной, но опасной девушки в парное — заключительное — отделение бани.

Затворяясь, дверь поддает мне, и, вопреки намерению, я выбегаю в самый центр. Тут пар такой, что не вздохнуть. Даже над полом. А чем дышат женщины там, на полках, поднимающихся во тьму под самый потолок, — уж и не знаю. Которые там, под потолком, даже и не стонут, так только — неподвижно белеются. А на нижних полках — хлещутся так, что листья летят. Одни хлещутся попарно, другие, пары не нашедшие, обезумело нахлестывают самих себя — по ногам! по заду! по спине!

Облипая листьями в виде сердечек.

А чтобы еще больней себе сделать, окунают веники в дымящийся чан.

А те, что в паре:

— Садче! — вопят, выгибаясь. — Садче давай!..

Августа тянет, я опираюсь. Жутко мне среди этих бесноватых белых великанш, которые хохочут, пляшут и трясутся под нахлестами своих товаров, а эти бьют наотмашь, так врезают, что груди их улетают, пытаясь оторваться, а зады так и ходят вверх-вниз всей массой — как на рессорах. Одно из этих чудищ вдруг оборачивается, и я

в ужасе пячусь. Это — мама... Та, кого мама отхлестала, с протяжным стоном отлипает от полка. От неги и блаженства глаза как сварились.

— Ну, спасибо, гражданочка, — рычит она, — ну, удружила. Давай тепер я тебя за это понежу. Одна здесь?

— С дочкой, — отвечает мама. — Дочка меня понежит. Ну-ка!

Сует Августе вымоченный веник и плашмя укладывается — кверху попой. А та, которой мама удружила, влезает уровнем выше и раздвигает свои ножищи для удобства созерцать, оскаливаясь на меня зевом красным из волос между могучих бедер — как косматая медведица. И басит сверху:

— Ты вымочи, вымочи его, как следует!

Августа испуганно бежит к чану.

Возвращается и начинает охаживать маму.

— Да не ласкаючи надо! — сердится чудище, слазя с полка, и я спасаюсь бегством.

В предбаннике меня ставят на лавку. Заворачивают в простыню, оставляя голую правую руку в которую мама дает мне половинку яблока. Перед этим она смазывает с зеленого яблока растаявшую от пара бумажную салфетку, а потом, как фокусник, обманно поднатужившись, разнимает надвое, но я-то знаю, что яблоко ножом разрезано еще дома.

Я впиваюсь в кисло-сладкую мякоть, глядя, как на белой лавке напротив молодая женщина надевает дымчато-черный чулок. Приподнимает ногу, оттягивает по-балетному носочек. При этом руки ее скользят вверх по черной ноге, еще более красивой, чем голая отставленная, — с такой лаской наскальзывают, что я поднимаю на нее глаза. Женщина улыбается своей ногой. Лаская себя отрешенно, как будто на этом свете только она одна — влюбленная в себя. Это, значит, можно — в себя? Вокруг меня люди себя не любят, только других... Поведение женщины, встающей на носки, чтобы пристегнуть к поясу черные чулки, потрясает меня настолько, что я не сразу вспоминаю проглотить уже разжеванный кусок яблока.

Закутанные до ноздрей, мы выходим в метель. Пока мы мылись, замело все углы на перекрестке. Мягко поскрипывает под ногами пушистый снежок. Покачивается уличный свет, а из окон уютно светят шелковые красно-оранжевые абажуры. Укутанному метелью Ленинграду уютно, как мне в моем пухлом коконе из головного платка, шапки и шубы. Возвращаемся к себе домой, где будем пить красный краснодарский чай с лимоном.

Смутно бела и далеко вперед безлюдна улица Рубинштейна, но вдруг мама ахает. У глухой, у газетной стены направо от винного магазина лежит кто-то в снегу. Его уже полузанесло метелью. Мама сует Августе авоську, убегает вперед, наклоняется, подтаскивает человека, усаживает под щитом с выдранными кем-то, свисающими многослойными клоками «Ленинградской правды». Мы подходим. Это женщина. Белокурая прядь косо падает на заледенело неподвижные глаза. Поэтесса, известная всей улице, а когда-то и всей стране.

— Что же делать? Замерзнет ведь, — говорит мама. — Вы, дети, возвращайтесь, вот вам ключ. А я ее отведу... Наталья Иосифовна, а, Наталья Иосифовна? Вы можете встать?

— Околеть спокойно не дадут. Не встану! — оживает ледяная поэтесса. — В Петербурге мы сойдемся снова, а в этой, вы уж, сударыня, извините, ебаной дыре знать я больше никого не желаю! С кем, собственно, имею честь?..

— Она описалась, мама! — говорю я.

— Да уведи ты его! Вставайте, Наталья Иосифовна, — говорит мама. — А меня Любой зовут. Из дома номер 29 — знаете?

В Ленинград пришла весна 1952 года: высох тротуар, и с веселым звоном на нашу улицу из подвалов выкатились инвалиды Великой Отечественной войны.

Больше всех я любил того, который катался у винного магазина. Его звали Константин Палыч. Будучи без ног, он был со мной одного роста. Остатки ног были одеты в солдатское галифе, подвернутое под зад. Кто-то сколотил ему тележку из занозистых винных ящиков, и Константина Палыча крепко-накрепко к ней прикрутили — за остатки ног. Разхлопаченными жгутами. У него была могучая, черноволосо-белая грудь в распахе грязной стеганки, на которую наколоты были — кем?.. — звенящие боевые медали. Потому что рук у него тоже не было. Вместо рук — пара чурок из расколотого и наскоро обтесанного полена. Чурки прикручены к пустым рукавам. Направляясь к своему месту под винным магазином, он отталкивается этими чурками от тротуара, о который шарикоподшипнички тележки издадут особый, как бы сытый рокот и выбивают искорки.

На шарикоподшипниках у Пяти Углов и по улице Рубинштейна раскатывают еще и мальчики на самокатах, сколоченных заботливыми отцами, но от мальчиков рокот другой: раскатисто-бесконечный. Удалой.

Бабушка всякий раз дает мне двугривенный — инвалиду в кепку.

Заработать себе на водку ему ведь нечем, и поэтому мы, люди, которых он грудью защитил во время войны, обязаны кидать ему мелочь: у нас не убудет, а он сможет купить бутылку, чтобы утопить в ней свое горе.

Я подбегаю и с наслаждением бросаю монетку в отванивающую кепку и отвечаю инвалиду:

— Это вам спасибо, Константин Палыч!

Иногда он просит огня. И это целый праздник — вынуть из кармана стеганки мятую пачку «Красной Звезды», вытряхнуть папироску, картонной трубочкой сунуть ему в сочные губы, невозбранно чиркнуть спичкой. Он глубоко затягивается и, пуская дым сквозь ноздри, прикусывает мундштук крепкими белыми зубами.

— Смотри только, — предупреждает Константин Палыч, — дома с огнем не шали.

— Я не шалю, — говорю я неправду.

— Вот и молодец. Отец-мать как? Живы-здоровы?

— Мать здорова, а отец, — говорю я с гордостью, — смертью поправил.

— Так, значит? Что ж! Лично я твоему папе по-хорошему завидую...

— Константин Палыч?

— Ну.

— Когда пописать надо, кто тебе штаны расстегивает?

— Ишь! — усмехается он. — Много будешь знать, скоро состаришься. Ты вот что... Пошарь-ка вот в этом кармане.

Я залезаю в другой карман его стеганки. Вынимаю руку — на ладони у меня подшипник. Тяжеленький такой. Доотказа набит шариками. Зеркальный, новенький, он предьявляет мне все небо, и шарики, повспыхивая, текут-переливаются в этом кольце. Я смотрю себе в ладонь.

— Владей, сынок! — говорит Константин Палыч. — И отваливай давай — бабушка вон заждалась. Ей, кстати, наше неизменное!..

ЗИМНИЙ ДВОРЕЦ

Когда Августа уходит в школу, мама берет с ее тарелки недоеденную макаронину и кладет на пол, у дырки в стене. Плинтусов в нашей комнате нет, их сожгли в Блокаду.

Мы влезаем на наш матрас, стоящий на кирпичах, забиваемся в угол и замираем обнявшись. Мы смотрим на дырку. Ждем, когда из нее вынырнет мышонок Тим — длиннохвостый и с умными бусинками красных глаз. Не одни мы его ожидаем: из коридора о нашу дверь урча ласкается бабушкин сибирский кот Кузьма Второй (Первого в Блокаду у бабушки похитила и съела соседка по лестничной клетке, старуха Благодравова). Дверь надежно заперта на задвижку, но мышонок все равно не приходит. Чует Кузьму.

— Ладно, — говорит мама. — Белье развесить надо, а я лежу тут с тобой, как принцесса!

Она встает.

— Хочу с тобой! — говорю я.

— После того, что ты натворил? Лежи уж...

Она надевает на шею ожерелье из деревянных прищепок и уходит на чердак. На чердаке я уже был — лучше не вспоминать. Был и в подвале. Мама взяла меня, когда пошла за дровами. Подвал был сырой, со страшными тенями, и там я потерялся. На свет моего огарка сошлись крысы, которым было так голодно, что, пища, толкаясь и кусая друг дружку, они стали грызть бабушкины войлочные валенки. Эти валенки мне были по одно место, и они не сгибались, когда я передвигал ноги. Поэтому я не передвигал, а стоял, дожидаясь, когда меня найдут, и смотрел на крыс. Огарок оплывал на кулак. Я отлеплял горячие прозрачные лепешки и бросал их крысам, которые, отвлекаясь от валенок, бросались на стеарин, как голуби на крошки. Мне их стало жалко так, что я задул огарок и бросил его весь. Потом меня ругали. Сказали, что крысы вместе с валенками могли съесть и меня. Тогда еще я маленький был — не понимал.

К стене над матрасом прикреплен репродуктор. Черная бумага натянута на проволочный каркас так туго, что кое-где прорвалась. Я осторожно встаю, беру вилочку и втыкаю в дырки. Помолчав, репродуктор говорит:

— *Мы передавали беседу товарища Сталина с корреспондентом газеты «Правда». А теперь послушайте китайскую народную музыку в исполнении оркестра Пекинского радио.*

Под китайскую музыку я слезаю с матраса. Подбираю запывлившуюся макаронину, кладу обратно в тарелку. Подтаскиваю

стул к окну и влезаю на подоконник.

В окне двойные рамы. Между ними внизу слой грязной ваты, а сверху, зацепленная за форточку, свисает пустая авоська. Я расплющиваюсь о холод стекла.

Прямо напротив — одна стена, скучная, а налево — другая, повеселей, потому что к окну на этой стене подвешен фанерный ящик — л е д н и к. Снег на крышке ледника истоптан голубями и воробьями — туда им бабушка из кухни бросает крошки. Направо тоже есть стена, но доходит она только до третьего этажа, а с нашего седьмого в эту щель открывается хоть и узкий, но дальний-дальний вид — на белое дно неведомого дворика. Там чернеет дерево, которое весной зазеленеет. В том дворике я никогда не бывал. С какой улицы туда можно попасть, через какую подворотню, какими проходными дворами — неизвестно. Никто этого не знает. Поэтому и снег там такой нетоптанный. Я мечтаю там побывать. Когда-нибудь.

Открывается дверь, и мама говорит:

— Слезь с окна: простудишься!

В последний раз я взглядываю на дворик в раме обмороженного по краям стекла — и отлипаю.

— Мама, — вспоминаю я, — когда же мы пойдем в Зимний дворец?

— Пойдем, — обещает она снова.

— Когда?

— А хоть бы и сегодня!

Я спрыгиваю на пол.

— Сейчас?

— Вечером, — говорит мама. — А сейчас мы с тобой пойдем за сахаром стоять. На Загородном выбросили и дают — представляешь? — по полкило в руки.

О Зимнем дворце я знаю все, мне дедушка рассказывал. Прежде дворец принадлежал династии Романовых — императорам Российским. Сейчас принадлежит народу, который, надев поверх обуви огромные войлочные тапки, неуклюже скользит по зеркалу паркета, догоняя экскурсовода — строгую тетю в темно-зеленом кителе.

Я вырываюсь от мамы и, как на каток, въезжаю в Большой тронный зал. Снизу опрокинуто сверкают хрустальные люстры, и красота этого зала — белого, багрового, золотого — слепит глаза. Перед барьером группа останавливается, а я, увлекшись, проезжаю под барьер. Мама извлекает меня обратно.

— Смотри!

Со стены на меня тысячами сверкающих глаз взирает сказочная страна. Тетя в кителе поднимает указку.

— На месте императорского трона мы с вами видим карту нашей великой Родины — Союза Советских Социалистических Республик. Эта уникальная карта установлена тут в 1937 году. Ее площадь — 27 квадратных метров. Более 45 000 уральских самоцветов понадобилось, чтобы воссоздать лицо бескрайней нашей Родины. Дивными звездами горят наши города, их более 450-ти. Но взгляд наш невольно притягивает самая крупная звезда. Это столица нашей Родины...

— Ленинград!

— Чей это мальчик?

— Мой! — берет меня за руку мама.

— И ты не знаешь, как называется столица твоей Родины? — Тетя укоризненно смотрит сверху. — Это прежде Ленинград был столицей, и тогда он назывался сначала Санкт-Петербург, а потом Петроград. Свершилась Великая Октябрьская революция. По указанию Ленина столицу перенесли в Москву. А после смерти Ленина, по просьбе нашего народа, Петрограду присвоили имя Ленинград. В твоём возрасте, мальчик, такие вещи уже надо бы знать. Чтобы не попадать перед всеми впросак.

Ко мне наклоняется мама.

— Не стыдно? Я же сто раз тебе объясняла! Где живет дедушка Сталин?

— В Москве...

— Видите? — Мама выпрямляется. — Он знает.

— Молодец! Ты любишь свою Родину, мальчик?

Я запрокидываю голову. Родина — вся — в золотой раме. Над рамой — герб. Такой же, как на монетах. Земной шар в колосьях и под звездой. Вокруг герба — красные флаги. Украдкой мама щиплет меня.

— Язык проглотил? Отвечай!

— Люблю...

— Вопросы по залу будут, товарищи? — отстает тетя. — Площадь 800 квадратных метров. Колонны, их 48 ровно, можете не считать, из итальянского мрамора. Люстр 26, лампочек полторы тысячи. Да, а в орнаменте использовано более 18 000 деталей из позолоченной бронзы. Еще вопросы?

— А где же трон?

Мама запоздало делает мне больно. Все смотрят на меня, потом на тетю в кителе.

— Перемещен в Малый тронный. В ходе экскурсии мы его увидим. Всему свое время, товарищи. Прошу следовать за мной!

Галерея Отечественной войны 1812-го года. Со стен взирают

горделиво 332 генерала во главе с Александром I-ым .

Гербовый зал — побед генералиссимуса Суворова, а также Петра Великого.

И наконец он, Малый тронный. Глаза сами жмурятся от золота, и ноги сами ведут меня...

— С ума сошел? — Мама перехватывает меня у плюшевых канатов, которыми прегражден доступ. Там, в запретной зоне, под звездным куполом сияет в высоте своими раздвоенными полушариями корона императоров. Двуглавый орел под ней венчает раму, в которой Петр I с женой Екатериной. А под портретом крепко стоит трон. Зияет пустотой. Табуреточка под ним на львиных лапах. Ноги ставить.

— Малый тронный зал, в честь Петра I-го названный Петровским, декорирован архитектором Монфераном... Мальчик, прими руки с каната! Это ваш ребенок, гражданка? Так и следите за ним, чтобы волю рукам не давал!

Мама сердито тащит меня из зала в зал.

— После отречения царя, — говорит тетя в кителе, — здесь, в Малахитовом зале, заседало Временное правительство. Сюда, в ночь на 26-е октября по старому стилю ворвались взявшие штурмом дворец рабочие, солдаты и матросы под руководством Ленина и Сталина. «Которые тут временные? Слазь! Кончилось ваше время!» — кто не знает этих бессмертных строк Маяковского, лучшего, талантливейшего поэта нашей эпохи. Арестом Временного правительства вот в этом, товарищи, зале и началась новая эра в истории человечества, эра, в которой нам с вами выпало счастье жить!.. — Пауза. — На этом наша экскурсия по залам героического прошлого заканчивается. Вопросы по залу? Тогда, товарищи, прошу организованно...

Бравый офицер выступает вперед.

— У меня уточнение, товарищ экскурсовод.

— Слушаю вас, товарищ капитан.

— Малахит с Урала будет?

— С Урала, да. Колонны, пилястры и камины, товарищи, покрыты нашим великолепным уральским малахитом. Обратите внимание на его цвет. Он теплый и холодный — одновременно. Этот сорт называется «шелковистым».

— Паркет из чего сработан?

Группа оборачивается и осматривает насупленного детину, задавшего вопрос. Под этими взглядами детина раскалется докрасна, и тогда все опускают глаза на паркет, о котором спрошено.

Узорчатый, он широкими черными стрелами разбегаются из-под ног во все стороны.

— В оформлении паркета использованы ценные породы дерева.

Такие, как, к примеру, орех, пальма, амарант, акажу и этот, как его... Эбен!

Взрыв хохота. Его тут же зажимают, но толпа уже расступилась вокруг тех, кто его произвел. В самом центре полового узора корчатся в конвульсиях две гражданки. Они держат друг дружку под ручку, зажимая себе рты, но никак не могут перестать. Поверх обветренных рук глаза их выпученные слезятся мольбой о пощаде, но тетя в кителе сводит хмурые накрашенные брови.

— Не вижу в этом ничего смешного. Эбен, товарищи, это черное дерево из семейства субтропических, вот и все. Прошу прекратить! Вы не в комнате смеха, гражданки, а в Государственном Эрмитаже! Идемте, товарищи.

Мама тащит меня за товарищем капитаном, которому тетя в кителе на ходу объясняет, что обычно подобные припадки с повышенно возбудимыми посетительницами случаются в античных залах — перед мужскими статуями. Но чтобы в Малахитовом? Нет. Это в ее практике первый раз. Совсем озверело бабье. Она вздыхает:

— Война!..

Офицер с пониманием кивает.

Залы мелькают в обратном порядке. Вот снова Малый тронный. Я оглядываюсь.

— Стой!

Но, вырвав руку, я уже бегу. Еще мгновение — и врежусь в бронзовый стоик, сквозь головку которого пропущен заградительный канат. Оскальзываясь, я беру правее и спасаюсь. Канат взломачивает мне макушку, и за спиной все, кроме мамы, разом стихают.

— Сынуленька, вернись!

Но я уже под куполом. На табуретку, а потом, за лапу трона ухватясь, коленом — на сиденье! Под мамин «ах»! — там, где-то за спиной, усаживаюсь вольно, раскинув руки, — под сине-золотыми звездами. На мне одни носки. Валенки с галошами по пути я потерял, и пусть. Кружится голова, плывет, сплывается там, за канатами, пятно: народ. И он — безмолвствует.

И только тетя в кителе:

— Неслыханно! — кричит. — Нет оправданья хулиганству! Милицию сюда! Пусть мать ответит!..

— Сынок!..

Офицер с золотыми погонами решительно ныряет под канат. Сияющие сапоги его изуродованы тапками. Бесшумно он подходит к ступеням. Он усат. Поперек лба морщина.

— Не дури. Посидел и будет. Ну?

Я забиваюсь в угол. Врешь, не возьмешь... Щечкой — в шитье золотое, в нашитого на спинке трона орла двуглавого.

— Тебе, брат, баловство, а мать расплачивайся? — Утерев лоб, офицер начинает подниматься ко мне по бархатным ступеням. — Не дело, брат. Ты кем это себя вообразил?

Р-раз! и отрывает меня от трона.

— Пусти, дурак! — кричу я, биясь, как птица под звездным куполом Империи, и все — орел, корона, купол — оплывает вдруг в слезах горячих. — Убили!

— Не убили, а низложили, — говорит офицер, пригибаясь, чтобы поднять мои валенки.

— Нет, убили, убили! Батюшку-царя! С наследником Алешей! Мальчика больного! У него кровь голубая, а вы?! — Я захлебываюсь гневными соплями. — А вы из «Маузера» в упор! Звери вы! Пусти! Фашис...

Мне затыкают рот.

Все разбегаются перед офицером, уносящего меня из Зимнего дворца. Я рвусь назад, над погоном колючим, — залы убегают, один за другим. Взмахивая руками, как на льду, несется мама, а за ней уже отстала тетя в кителе. И еще выдвигаются залы, и вот она уже вдаль, как в перевернутом бинокле.

Мои руки скользят по круглой стене Главной лестницы. Уносятся статуи галереи Растрелли, а потом меня утаскивают вниз, в подвалы мраморные раздевалок...

На морозе я прихожу в себя. Под сапогами несущего меня офицера визжит снег, и в свете удаляющегося дворца радужно сияют оледенелые деревья. Ухватываясь за прочно пришитый к плечу погон с четырьмя звездочками — не выпасть бы из рук, — я притираюсь щекой к шершавой шинельной груди.

Рядом с нами всхлипывает мама. То и дело ее рука с платочком выныривает из черной муфты.

— Вы нас куда сейчас, товарищ капитан? — с тревогой спрашивает мама.

— Куда прикажете, мадам?

— Тогда уж мадемуазель, — слышу я сырую улыбку. — Значит, арестовывать нас с ним не будете?

Капитан останавливается, как вкопанный.

— Вы за кого меня принимаете? Я — армейский офицер!

Мы идем дальше, и он начинает смеяться.

— Вы о чем?

— Да так... Ребенок был резов, но мил — так, кажется, у Пушкина? Такое, кстати, я уже слыхивал. В Сорок Пятом, в Югославии. От эмигранта одного. Между прочим, князя. Но чтоб младенец формулировал, как недобитый монархист!..

Капитан хохочет.

— А все дедулины уроки! — Мама заглядывает мне в лицо, я притворяюсь спящим. — Больше ты у меня в Большую комнату не пойдешь!.. Дед у него.

— Ясно, — подбрасывает меня капитан.

Мы стоим у стен Адмиралтейства. Снег замел горки пушечных ядер, забил жерла мортир за чугунными цепями. Мама выстучивает каблучками меховых своих «румынок». Троллейбуса все нет. Тогда капитан вдруг закладывает два пальца в рот, отчаянно свистит, и вот уже к нам подъезжает роскошный черный «Зим»-таксомотор.

— Вы что? — пугается мама. — Нет-нет. Мы на троллейбусе.

И она садится к нам в «Зим».

— Куда? — спрашивает шофер.

— Сейчас нам скажут — говорит капитан.

Мама молчит, тогда говорю я:

— К Пяти Углам.

— Давай, друг!

И мы едем. Огибаем сквер Адмиралтейства и выезжаем на залитый огнями Невский.

— А знаете что? Давайте-ка распишемся.

Мама смеется.

— Как? Так вот сразу и?..

— Ну, а чего? Ведь все же ясно.

— Кому? Я ведь о вас не знаю ничего.

— Чего там знать? Родился на берегах, но не Невы, а Енисея. Поехал в Москву на инженера учиться — мобилизовали со второго курса Бауманки. А там, значит, война. От Белокаменной дошел до Вены — ни царапинки. Нет, вру: таки ободрали мне шкуру, но так, пустыки. Хотел демобилизоваться — отказали. После войны изъездил пол-Европы. Потом направили к вам, в Северную Пальмиру. В Бронетанковую академию. Кончу — опять куда-нибудь зарядят в диапазоне от Берлина до Пекина... Что еще? Ах, да! Фамилия Гусаров. Звать Леонид, а лучше Леня. А вас?

— Любовь, — смутилась мама.

— Ну, все! — вскричал Гусаров. — Судьба!

— Но у меня ведь сын вот.

— Усыновляем!

— И дочь еще... от первого брака.

— Удочеряем!

— Но товарищ капитан...

— Леня, то есть.

— Да, Леня... Вы же обо мне ничего не знаете? У меня, быть может, прошлое?

— Оно у всех сейчас. Итак, Любаша?

— Нет-нет! Я все должна спокойно обдумать.

— Все! умолкаю до Пяти Углов.

— По-гвардейски, товарищ капитан! — сказал шофер. — Случаем, под Сталинградом не были?

— Друг! — оборвал капитан. — Человек думает!.. — И он добавил: — Был.

Мама начала думать мимо черно-белых коней на Аничковом мосту, но когда «Зим» затормозил у черного провала нашей подворотни, подняла голову и сказала, что не знает что и сказать.

— Тогда я скажу, — решил капитан. — Свадьбу играем в «Англетерре».

— В «Англетерре»? Никогда!

— Это почему?

— Сергей Есенин там повесился. Поэт.

— Поэт? Ладно... Как насчет «Европейской»?

Он бросил шоферу сторублевку «без сдачи», распахнул дверцу, выпустил маму и вынес меня.

— Вас ждать, товарищ капитан? — перегнулся шофер.

— Сейчас нам скажут.

И мы с капитаном сверху поглядели на маму, которая засмеялась и махнула рукой:

— Езжайте уж!

И «Зим» уехал. В метель. А капитан остался...

С В А Д Ъ Б А

Среди прочих предметов, оставшихся от «Прежнего Мира», как называла бабушка некое исчезнувшее, мифическое, но вместе с тем еще вполне конкретное прошлое, была у них с дедом в Большой комнате пара стульев. С тисненой кожей на сиденьях, а на спинках с языкатыми чудищами — химерами. Это у них были самые красивые стулья, и бабушка поставила их во главу накрытого стола.

— Для молодоженов.

— А я где сяду?

Бабушка влезла на табуреточку, задула под Богом лиловую лампадку и двумя руками сняла с этажерки самшитового дерева стоящий на ней алюминиевый ящичек. Этот ящичек она отнесла в зеркальный джаф. Вернулась, переставила на этажерке черные граненные вазы с бессмертниками и ответила жестко:

— Свадьба, Александр, не детский праздник.

Тогда я приволок из Маленькой комнаты свой стул и раздвинул им «химерные»:

— Сяду с мамой.

— С твоей мамой сядет ее жених, — ответила бабушка и выставила мой стул вон.

А стулья с химерами заботливо сдвинула.

— Ах, ты так?! — вскричал я.

Тогда вслед за стулом она выставила и меня, чтобы ничто не нарушало праздничную гармонию в Большой комнате, готовой к возвращению новобрачных из отдела Записей актов гражданского состояния Куйбышевского района города Ленинграда.

Я вошел в нашу Маленькую комнату и хлопнул дверью.

За столом Августа зубрила урок. Она подняла от учебника «Логика» свои насмешливые глаза:

— То, чего ты не потерял, ты имеешь.

Я пнул дверцу нашей печки, которая лязгнула и сыпанула пеплом.

— Ты не потерял рогов. Следовательно...

Я схватил кочергу, и она прикусила свой длинный язык. Но как только я отшвырнул кочергу, Августа растопырила мне из-за своей головы два пальца, испачканных чернилами.

Я задохнулся — но она зажала уши и забубнила, глядя в учебник:

— *Софические уловки — излюбленный прием мышления современной империалистической буржуазии и ее правосоциалистических лакеев, которые прибегают к различным ухищрениям, пытаясь запутать суть рассматриваемого вопроса. Так, например,*

когда советская делегация на Ассамблее Организации Объединенных Наций внесла резолюцию, осуждающую поджигателей войны
ТО, ЧЕГО ТЫ НЕ ПОТЕРЯЛ, ТЫ ИМЕЕШЬ. ТЫ НЕ ПОТЕРЯЛ РОГОВ. СЛЕДОВАТЕЛЬНО, ТЫ ИМЕЕШЬ РОГА.

Слезы сами брызнули из глаз.

С кулаками я бросился на коварную, но Августа скрутила меня, вытолкнула в коридор и заперлась на задвижку.

— Опять на обоях малюешь! — напали на меня в коридоре и отобрали красный карандаш.

— Шел бы ты куда-нибудь, Александр! — сказали мне.

— А куда?

— Куда хочешь, только не путайся ты под ногами!..

Когда все вскрикнули на стук и бросились к парадной двери, я направился в другую сторону. Вошел в Большую комнату, приподнял тяжелый край скатерти... Оглянулся — и увидел себя в зеркальной двери шкафа. Я открыл дверь, влез вовнутрь и плотно затворился изнутри, ломая ногти о выступ шурупчика, которым была привинчена наружная ручка.

В следующее мгновенье Большая комната наполнилась головами.

В шкафу было темно и душно, и пахло нафталином, убивающим моль, а может быть, и всё живое.

Я ушел под навешанные платья и там, в углу, уселся на тот самый ящичек из алюминия, спрятанный бабушкой. Брать мне в руки этот ящичек не разрешалось: Бог проклянет. И в руки я не брал. Потому что даже когда в Большой комнате никого не было, кроме меня и тайны ящичка, Бог предостерегающе взирал сверху. И сейчас, в шкафу, я не сразу решился вынуть ящичек из-под себя.

Вначале я прислушивался к шуму извне.

Свадьба началась криками:

«Горько! горько! Пусть поцелуются! А ну, молодожены!..»

К задней стенке шкафа была прислонена двустволка, о которой дедушка с непонятной гордостью говорил: «Три кольца». Колец на ней не было, но были спусковые крючки, которые я стал дергать, отвлеченно, за отсутствием патронов, думая о том, как хорошо бы взять да выстрелить из обоих стволов сразу. Так просто... Чтобы обозначить присутствие.

Там, извне, капитан Гусаров провозгласил:

«Первый гост, товарищи, за Сталина!..» Раздался торжественный перезвон хрусталя — и пошло-поехало... Я снял пальцы со

спусковых крючков и стал водить вокруг себя руками. Нашарил шелковое платье — бабушкино, из Прежних Времен. Я нырнул под платье и стал гладить свое лицо — через шелк. Слабо пахло увядшими цветами. Потом я сказал себе: «Горько!» Поднес ко рту левую свою руку и поцеловал. Это мне понравилось. Я набрал полный рот своей руки. Сосал ее, левую, и пробовал на зуб. Потом стал растирать обслюнявленное место. Усердно и долго — чтобы вызвать запах смерти. Этому меня научила Августа. Я понюхал руку, от нее шел приторный душок. Когда мы умрем, сказала Августа, вонять мы будем этим. Но только еще сильнее. А потом и еще, и когда им станет невыносимо, они нас закопают. В землю. А потом? А потом нас съедят черви. Будут есть нас медленно, но со всех сторон, и съедят до конца. И от нас ничего не останется? Ничего. *Совсем* ничего? *Совсем*, злорадно подтвердила Августа. Пшик один останется. Пш-шик.

Задумавшись о таком бесславном своем финале, я всплакнул и впал в оцепенение скорби, из которого вышел только, когда там, извйё, завели патефон на 78 оборотов, и всё подо мной затряслось от танцев по старому паркету. Это были наши с мамой любимые песни. Клавдия Шульженко их пела, и я подперся ладонью.

*Голубые глаза хороши —
только мне полюбилися карие...
Полюбились любовью такой,
что вовек никогда не кончается.
Вот вернется он с фронта домой,
и под вечер со мной повстречается.
Я прижму его к сердцу, прижму
молодыми руками горячими
и скажу в этот вечер ему,
что самую судьбой предназначено.
...А тебя об одном попрошу:
ты напрасно меня не испытывай.
Я на свадьбу тебя приглашу,
а на большее ты не рассчитывай!..*

Я вынул из-под себя ящичек, нагретый мной, взял на колени и стал водить ладонями по плоскостям его, гладким и острыми граням. Он был легкий. Я поднес его к уху и потряс. Что-то лязгало изнутри об стенки, какие-то острые кусочки, железные. Облачко пыли вдруг обдало меня, и я поспешно придавил свою верхнюю губу, чтобы удержаться от чиха — как научила Августа. По одной грани плоскости разошлись, и ящичек сыпал мне на колени мягкую пыль. Я отставил его, треснувший, и с головой зарылся в узлы под платьями.

Я долго рылся в этих узлах и нашел, и вытащил за длинное ухо кожаный шлем неизвестного летчика. Я надел его — все сразу стало тихо. Сел и обнял ящичек. Было тихо, но шум веселья все же вползал под отстающие уши шлема, и надрывал мне сердце. Мне вдруг представилось, что я уже *пшик*, а оно, веселье, шумит вокруг, гремит, и сапоги приглашенных Гусаровым сокурсников по Бронетанковой академии так выкаблучивают по паркету, что игла патефона то и дело заедает, а я посреди этой гульбы — как в гроб заколоченный. И ни окликнуть их, живых, сквозь глухое это дерево, чтоб пластинку сменили:

*...а на большее ты не рассчитывай,
а на большее ты не рассчитывай,
а на большее ты не рассчитывай...*

Тут я вспомнил, что в этом гробу есть дверь, и она зеркальная. Я встал, пробился сквозь душные платья — и на меня сверкнуло там, где старое это зеркало прохудилось. В этом месте — сверху — я соскреб отстающую чешую, влез на ящичек и прильнул к глазку.

И сразу отпрянул, хватаясь за платья, — прямо в упор на меня взглянул Гусаров. Он наскоро подкрутил кончики черных своих усов и подмигнул заговорщицки.

Откуда он узнал, что за зеркалом — я?

Во всяком случае, Гусаров никому об этом не сказал, а отвернувшись, вошел в круг и крепко поцеловал маму, а все смотрели, смеялись и били в ладоши:

«Еще горше! еще горше!..»

Я скосил глаз в сторону стола и увидел, как дедушка выпил рюмку, которую одутловатые бабушкины пальцы тут же отобрали и поставили доньшком кверху. И дедушке не налили. А офицеру, который сидел рядом, — налили. Полный стакан. Этот офицер, вместо того чтобы пить, стал расстегивать на себе китель. Он снял его и повесил на спинку стула, а повернувшись — в белой рубашке, раскрытой углом на груди, — ухватился за край стакана зубами, приподнял, запрокинул — и стал вливать в себя водку, одновременно вертя руками в воздухе. А выпив, откусил от стакана край и стал хрустеть стеклом с невозмутимым видом — цирк прямо! А бабушка так и застыла, глядя на этот смертельный номер с приоткрытым ртом.

Потом на меня уставилась одна женщина — губы сердечком.

Это сердечко она пыталась накрасить посильней, но каждый раз алая палочка губной помады попадала мимо. Женщина захохотала мне в лицо и махнула рукой.

Возник один офицер. Он гордо посмотрел на меня, вынул изо рта

папиросу, дунул дымом на зеркало, тряхнул чубом — отошел.

Потом в руки маме дали гитару, украшенную фиолетовым бантом, и все запели под струнный наигрыш. Пели и веселые песни:

*Эх, путь-дорожка фронтовая!
Не страшна нам бомбежка любая!
Эх, помирать нам рановато:
есть у нас еще дома дела!*

и такие, как «Где же вы теперь, друзья-однополчане, боевые спутники мои?». От этой песни на глаза мне навернулись слезы, а там, снаружи, один офицер просто разрыдался, упав лицом на скрещенные кисти рук, а локтем приподняв блюдо с недоеденными крабами. Тогда все стали его утешать, заставив выпить стакан водки, а потом стали ловить другого офицера, который тоже хотел закусить, но не стаканом, а бабушкиным бокалом из темно-синего хрусталя, и его разворачивали лицом к зеркалу, чтобы показать, на кого он стал похѣбж, а офицер все закрывался руками, смотреть не желая. И еще пели — не то, чтобы веселое, но и не горькое, а такое, от чего сердце разрывалось:

*Веселья час и боль разлуки
готов делить с тобой всегда.
Давай пожмем друг другу руки —
и в дальний путь на долгие года!..*

Гусаров, закусив папиросу, стал поднимать на руки маму, которая сопротивлялась ему так, что потрясла с себя лакированные туфли на высоких каблукках — их поврозь подобрали тут же два офицера, хлопнуло шампанское, зазвенела от удара пробкой люстра с тысячей хрустальных висюлек, ударила струя.

Офицерам налили в мамины тувельки, и каждый поднес свою ко рту, чтобы выпить до дна, и тут я ударил лбом по черному исподу зеркала — все обернулись ко мне.

Я ударил еще. Треснув, зеркало медленно отвалилось — и они увидели меня в моем летном шлеме.

Крик ужаса вырвался из их груди, а потом как молнией ударило! Со страшным грохотом рухнуло черное зеркало, и тысяча сверкающих кусков разбежалось по паркету — во все стороны сразу. Алюминиевый ящичек выпрыгнул у меня из-под ног и раскрылся от удара о паркет. А следом, ладонями вперед, выпал я. И тут же был удушен обвалом платьев. Я съезился под этим старым тряпьем, изо всех сил прижимая к животу остатки ящичка, и был ни жив ни мертв — в ожидании Божьей кары из правого угла этой комнаты.

Меня откопали. Рывком поставили на ноги. Сорвали летный шлем, и глаза сами зажмурились от радужного света.

— Отца! — взвизгнул дедушка... — Ты отца родного распылил!

И упал на колени.

После мертвой паузы кто-то истерически захохотал, и под пьяный этот хохот кто-то суеверный встревоженным шепотом осведомлялся о том, кто именно смотрелся в зеркало последним, и ему сердито отвечали, что да все мы, все! тогда как дедушка ползал на четвереньках, пятная паркет кровавыми отпечатками своих ладоней, и, двигая лопатками худыми, выгребал из-под отступающих с хрустом хромовых сапог и к себе сгребал, к себе, к себе! сверкающий прах.

Урну с пеплом своего предшественника гвардии капитан Гусаров в канун своей первой брачной ночи крепко-накрепко запаял паяльником.

И ничего плохого не случилось, напротив: спустя неделю по облигациям послевоенного займа на восстановление нашей страны дед выиграл 5000 рублей. Далеко за Невой, на Больше-Охтинском кладбище (в церкви которой я, в полтора месяца вывезенный вместе с урной из советской зоны оккупации Германии, был нелегально крещен) был куплен фамильный надел. Отца похоронили у правого края — с тем, чтобы осталось место для дедушки с бабушкой. Мне места не осталось — когда от меня будет пшик. И это укрепило меня в подозрении, что, в отличие от прочих, я не умру, а буду всегда, как бы ни огорчала меня Августа.

На могиле поставили раковину и не звездочку, положенную офицеру, а православный крест, сработанный в кладбищенской мастерской из бетонного раствора, куда вмазали затем светло-серый битый камень. Участок обнесли сеткой ограды. Сетку, раковину и толщину креста посеребрили алюминиевой краской. В мае в раковину насадили анютиных глазок, и стали дальше ездить на могилу, как на пригородный огородик — возделывать по воскресеньям.

КРАСНАЯ АРМИЯ ВСЕХ СИЛЬНЕЙ

Они спят втроем. Мама у стенки, Гусаров с краю, а он, Александр, у них в изголовье. Поперек.

Трещит будильник, и глаза открываются сами.

Августа спит на раскладушке, задвигаемой под стол. Александр слезает на пол и обнажает ноги Августы. Она вылезает из-под стола, берет в охапку школьную одежду и раздувшуюся от учебников брезентовую полевую сумку, Гусаровым подаренную, — уходит на кухню. Александр за ней. На нем обязанность — закрывать на крюк после Августы дверь черного хода. Потом Александр допивает остатки ее утреннего чая из большой алюминиевой кружки. Идет по коридору, поднимает руку и дергает за ручку. Дверь заперта. Большая комната еще спит. Он стучится — не открывают. Колотится об дверь лопатками — шипят сердито, но не встают впустить. Из замочной скважины сквозит нехорошим душком.

— Спите и спите! — лягает он дверь. — А потом у вас смертью изо рта пахнет!.. Вставайте, не то умрете!

Но они не хотят жить. Отжившие люди — верно о них говорят. Александр возвращается в Маленькую комнату.

Гусаров спит тоже. Александр придвигает стул к матрасу, стоящему на кирпичках. Разглаживает Гусарову грозную морщину на переносице. Завинчивает ему усы.

— Хватит спать, Гусаров!

— Для кого Гусаров, а для тебя папа, — отвечает он не открывая глаз.

— Мой папа смертью смерть поправ. Вставай, в Академию опоздаешь!

— Солдат спит, служба идет.

— Ты же офицер?

— Один хер, — сквозь сон отвечает Гусаров.

Щеки у него уже синие. Александр отходит. На подоконнике лежит бритва Гусарова. О п а с н а я. Он остро ощущает опасность бритвы, раскрывая ее. Он выдыхает на бритву. Затуманенное лезвие медленно проясняется. Ремень, о который Гусаров точит бритву, толстый и прочный. Еще у Гусарова есть большая жестяная коробка из-под американского табака, который ему в Вене подарил американский летчик. Когда американцы еще были хорошие. Александр открывает коробку. Он перебирает вещи спящего Гусарова. Латунную дощечку с прорезью — Трафарет. Чтобы, не пачкая мундира и шинели, полировать зубным порошком пугавицы с

сияющими пятиугольными звездами армии. Кусок позеленелого войлока. Бархотку — для наведения на пуговицы армии зеркальности. Потом Александр поворачивается на стуле к столу, расстегивает большой, до серых пятен вытершийся портфель свиной кожи. Из портфеля медленно выползает коробка карандашей «ТАКТИКА». Большой и толстый красный карандаш «СТРАТЕГИЧЕСКИЙ». Еще один Трафарет — этот из мутно-прозрачного целлулоида, сквозь разнообразно-узорчатые прорези которого остро отточенным карандашом можно так четко нарисовать любой контур: Бойца. Оружие. Танк. Самолет. Стрелу Решающего Удара — хищную, как акула. Еще выползают: трофейная немецкая готовальня, сложенные оперативные карты — такие огромные, что в их Маленькой комнате полностью их и развернуть нельзя. И книга толстая: «И.В.Сталин о военном искусстве». Без картинок... Александр еще раз поворачивается на стуле — лицом к его спинке. На ней висит китель Гусарова с чистым белым подворотничком, который он собственноручно пришил с вечера. Через золотое погонное плечо кителя перекинута портупья, которой, уходя в Академию, опоясывается Гусаров — сложное, как упряжь конская, переплетение толстых и тонких ремней, пахучих, дурмящих, простроченных узором, с дырочками, пряжками червонного золота и серебрянными застежками и держалками для шашки, которую выдают на время Ноябрьского парада, а также для кобуры с лучшим в мире пистолетом системы «Макаров», который снова вернется к гвардии капитану Гусарову, когда он закончит свою Бронетанковую Академию и вернется в строй. Боевым офицером лучшей в мире армии, о которой недаром поет радио, что

*От тайги до британских морей
Красная Армия — всех сильней!..*

И тогда они все отсюда уедут. Может быть, в Берлин, а может быть — в Пекин... Александр смотрит в окно на почернелые стены опостылевшего колодца.

Соскакивает на пол.

— Вставай, Гусаров! — говорит. — Труба зовет.

— Для кого Гусаров, а для тебя, брат, папа, — бормочет спящий рядом с мамой гвардии капитан.

На щеках его под пальцами Александра трещит щетина.

— Подъем, подъем, — зовет Александр. — Ты уже так долго спишь, что борода у тебя выросла. Пора тебе побриться!

— Дай, брат, доспать, — не открывает глаз Гусаров.

— Ну, хочешь: ты спи, а я тебя побрею?

— Зарежешь...

— Тогда я тебе пока бритву наточу?

— Порежешься. — И бормочет, удаляясь снова куда-то далеко-далеко: — Вот прогоним фрицев, тогда и будем бриться... Охота сон досмотреть — а, сынок? До победного конца.

Александр умолкает. Александр влезает на стул с ногами и, подперевшись, внимательно смотрит на суровое лицо усатого мужчины, по смене выражений пытаюсь угадать, как разворачиваются события на фронте утреннего сновидения. Гусаров стискивает зубы и гоняет по щеке желвак, но Александр знает: как бы ни было трудно, победа останется за нами.

Красная Армия всех сильней.

Р Ы С Ь

В мае мы все, кроме Гусарова, который сдавал экзамены в Бронетанковой академии, переехали на дачу, и жизнь началась там совсем другая — голубая и зеленая. И сытная: потому что мама сняла дачу с козой.

Гусаров устроил нас, и мы пошли его провожать на станцию. За околицей дорога пошла мимо луга. Кочек на нем было!.. Они пучились ровными рядами, как нарочно посаженные.

— Да, — сказал Гусаров, — под Гатчиной мы им крепко врезали...

— Кому? — спросил я.

— Немцам. Тут же кладбище их было.

— Фрицевское?!

Охваченный внезапной ненавистью к лугу, я сбежал с дороги и прийялся пинать кочку. Я пинал ее, мягкую, изо всех сил, а потом, оглядываясь на Гусарова, стал и плевать на нее. Но Гусаров неожиданно нахмурился. Сбежал ко мне, оторвал от кочки, усадил себе на плечи, вынес с луга и поставил на дорогу.

— Солдатом быть хочешь?

— Хочу.

— Так вот, заруби себе на этом вот носу: осквернением могил солдат не занимается. Солдат, он уважает Смерть.

— Что ли, и фрицевскую? — возмутился я.

— Она для всех едина, — сказал Гусаров. — Смерть, это, брат...

Ладно! Вырастешь — поймешь.

Он уехал в Ленинград, а мы пошли обратно еловым лесом.

— Где ты там плетешься? — оглянулась мама.

Она схватила меня за руку и потащила так, что я прикусил губу, ударившись пальцами ноги о проросший землю корень. С одной стороны мама тащила меня, а с другой Августу — за локоть. И при этом оглядывалась назад, где не было ни души.

— Тебе не кажется, — сказала мама, — что за нами кто-то следит?

— Кто? — спросила Августа.

— Не ори, дура! — Мама говорила задыхающимся шепотом. —

Ну-ка, оглянись... Ну?

— Никого там нет.

Но мама потащила нас еще быстрее.

— Не знаю, почему, — прошептала она, — но у меня такое впечатление, что нас с вами, дети мои, сейчас начнут убивать...

— За что? — удивилась Августа.

— Тихо ты! Смотри!.. — Мама засучила рукав и показала нам

руку, которая до локтя была покрыта «гусиной кожей» так, что все волоски стояли дыбом. — За нами идут по пятам, я их чувствую... Бежим!

Но в темном тоннеле за нами никого, и от этого нас всех, и даже Августу, охватывает паника, и мы бежим. Тропинкой. А вровень с нами — но верхом, над головой — бежит-струится кошка. Огромная и рыжая, и с кисточками на ушах.

Таких я еще не видел.

Когда мы с ней встретились глазами, она мне повелела: *Молчи!* Она не хотела, чтобы мама с Августой ее увидели. Мне она доверилась, и оглядываясь на бегу, я ей отвечаю: *Видишь? молчу...* За это желтые глаза взирают с пристальной любовью. И напоследок, перед тем как мы выбегаем из ельника, говорят: *Приходи, поиграем еще... Приду!* оглядываюсь я в последний раз.

Над нами чистое закатное небо, и мама:

— Ф-фу! — выдыхает. — От души отлегло...

— Тебе просто померещилось, — говорит Августа. — Никого там не было.

— Может, и померещилось, — соглашается мама... — А может быть, и нет. Кто знает?

Муж хозяйки пропал на войне без вести. Вдвоем с сыном Вовкой — ржавой зубастой пилой — они пилят во дворе березовый крест.

— Аккуратисты, — говорит хозяйка, утирая пот. — Каждого, гляди, поврозь закапывали. Не как у нас — в одну яму всех, а потом звезду воткнули: братская могила! А какие ж там братья? Все ведь вперемешку, не разбери-поймешь... Эх, прости Господи!..

Потом Вовка раскалывает напиленные чурки на полешки, которыми они топят русскую печь, чтобы варить картошку «в мундире» и спать на теплом.

Крестов в сарае еще на одну зиму хватит. Козу свою хозяйка тоже пасет на бывшем кладбище. Кочки там едят из-под земли врагов, коза обгладывает кочки... От одного запаха козьего молока подкатывает к горлу.

— Пей, — говорит мама, — оно полезное.

— Расти не будешь, — грозит она, — так и останешься...

— Ну, хоть глоточек, — умоляет. — За маму? или ты свою маму не любишь?

Я — делать нечего — выпиваю...

— А теперь, — говорит мама, — за Сталина. Ты ведь не можешь не выпить за дедушку Сталина?

Не могу.

Потом еще — и за Ленина глоточек. Дедушку...

И за нашу Советскую Родину...

Нет! за Маркса-Энгельса я отказываюсь наотрез. Не буду, говорю я. Немцы они. Но они же хорошие? Все равно! говорю я, чувствуя, что где-то прав: на этих немцах не очень-то и настаивают. Ладно, говорят. Не хочешь как хочешь. Но ты посмотри что на дне...

Я наклоняю стакан — на дне алеет «барбариска». Это Августа как-то подкинула ее незаметно.

— Смотри, растает...

За этот кисло-сладкий, а л ы й вкус — чего не сделаешь! Я выдыхаю и — залпом!..

Но тут же все это из меня обратно — на стол! Фонтаном мутным! С «барбариской»...

Меня утирают, дают выпить из алюминиевого ковшика, из мятого, и утешают:

— Ничего! Завтра получится.

— А если не получится?

— Получится послезавтра. Это в тебе, — говорит мама, — организм сопротивляется.

— Кто?

— Организм. Он же не знает, что козье молоко полезно. Его нужно убедить, заставить. Я тебе помогу, но сломить свой организм, — говорит мама, — ты, Саша, должен сам... Если хочешь вырасти настоящим мужчиной.

У меня начались рвоты. Молоко временно отставили, но теперь меня тошнило и от ключевой воды. Мама повезла меня в Гатчину. Там ей посоветовали везти меня в Ленинград на анализы и рентген. Мы поехали. В детской поликлинике у Кузнечного рынка я живо отреагировал на фотостенд наглядной агитации за гигиену: упал в обморок. И было от чего: на одной из картин клубок червей буквально съедал изнутри невинного ребенка... Сильный пропагандистский образ.

Проанализировав то, что мы принесли в баночке из-под горчицы, и то, что мама запечатала в спичечный коробок, а также кровь, натянутую губами медсестры в стеклянную трубочку, а потом, под рентгеном, всего меня в целом (выпившего перед тем стакан творожно-белой барриевой каши), в поликлинике сказали, что патологических отклонений нет, и мальчика можно считать практически здоровым, только...

— Что? — перепугалась мама.

— Оберегайте его от чрезмерной психической нагрузки. Рвоты у

него, вероятно, на почве нервных спазм. Ребенок повышенно впечатлителен.

— Доктор, я хотела спросить еще... Молоко ему можно?

— То есть?

— Козье, — уточнила мама.

— Любое! — ответили ей. — Не только можно, но даже очень нужно!..

— Слышал? — спросила мама.

Я промолчал.

Мы с Августой пришли на бывшее кладбище, где Вовка пас козу. То есть: лежал на ватнике и курил папиросу «Герцеговина Флор», по его просьбе украденную мной из портсигара Гусарова, который приехал вчера, чтобы попрощаться с нами перед отъездом на летние маневры.

Вовка курил и приглядывал, чтобы коза не вырвала колышек, к которому она была привязана за веревку. Августа присела на соседнюю кочку и принялась плести веночек из одуванчиков. Вовка вынул колышек от козы из своей кочки и воткнул его в кочку Августы.

— Другого места не нашел? — не поднимая головы, спросила Августа.

Вовка кинул ватник ей под ноги и улегся.

— Не нашел, — ответил он. — Эй, малый!

— Что?

— Не пизданешь еще папироску? Будь другом.

— Пиздану, — пообещал я. — После обеда. Нам до обеда нельзя возвращаться.

— Эт-то почему ж?

— Чтобы их не будить. Спать они легли.

— С утра-то? Ясно, — сказал Вовка. — Дело ясное что дело темное... Покурим мху тогда, чего ж.

И вдруг Августа говорит:

— У меня есть, но, кажется, сломалась... — И вынимает из кармана кофты гусаровскую папироску. — Нет, согнулась только! На.

Вовка неторопливо раскурил, выпустил изо рта три кольца дыма и оглядел Августу, которая от этого покраснела и туго обтянула подолом колени.

— Ты чо, куришь, что ль? — спросил он.

— Нет, она не курит, — ответил я.

— Тебя что, спрашивают? — прикрикнула Августа... — Конечно, нет, Володя. Курят только женщины легкого поведения.

— Это что ж за такие? — заинтересовался Вовка.

— Н-ну... Обольстительницы. Которые прожигают жизнь по ресторанам.

— Ресторан, это что?

— Не знаешь? Зал такой. Где ужинают, пьют вино и танцуют.

Под джаз-оркестр.

— В городе у вас?

— Ну да. Там их полно!

Вовка поднялся на ноги и предложил Августе:

— Отойдем на пару слов.

Они отошли.

Я подсел к колышку. Взялся за него двумя руками, поднатужился — выдернул. Сначала колышек лежал спокойно, потом пополз. Остановился... Потом — р-раз — и нырнул в траву. Я подобрал сплетенный Августой венок, надел себе на голову, подбежал к сестре и схватил ее за руку, которая была потной.

— Не хотишь как хотишь, — сказал ей Вовка. — Давай хоть это, поцелуемся?

— Разве ты не знаешь, как Вера Павловна говорила? «Умру, но без любви поцелуя — не дам!» Ты читал роман Чернышевского «Что делать?»

— Ебал я твою Веру Павловну! Сперва, понимаешь, папироской завлекают, а потом Вера Павловна? — Вовка сплюнул.

— Тебе, Володя, — по-хорошему сказала Августа в ответ на эти нехорошие слова, — необходимо повышать свой культурный уровень.

— А тебе — буфера растить! — Он ухмыльнулся. — Тощая уж больно на мой вкус. Мужик, он, знаешь ли, не собака — на кости-то кидаться.

Августа тоже усмехнулась, с трудом удерживая ресницами слезы.

— Эх, ты, деревня! — бросила она. — Беги лучше козу свою догоняй.

Я взобрался на кочку повыше. Напрыгавшись по лугу, коза бродила уже у леса. Вовка побледнел. Он даже не выругался, только перевернул на себе кепку козырьком назад и что было мочи погнал за козой.

— Не поймает, — сказал я.

— Поймает, — возразила Августа.

Чего он только не делал, чтобы завлечь козу! Даже на колени перед ней становился, прижимая кепку к груди. Но коза упрямо отбегала. Вовка не выдержал и бросился к ней, но тогда коза заблеяла и со всех ног припустила в лес, где и пропала из виду. Вовка за ней. Августе сказала:

— Должен поймать.

Я промолчал.

Вовка вернулся после захода солнца. Без козы, без кепки и весь исцарапанный. И прямо во дворе был страшно избит вожжами от лошади, съеденной еще в войну. Насилу Гусаров отнял его у хозяйки. Потом он отнял у нее и вожжи, на которых она побежала в сарай удавиться — о чем нас предупредил петух, вылетевший оттуда в страшной панике.

Из-за всего этого Гусаров ушел к последней электричке. Один. Через лес. Но за него я не боялся, потому что Гусаров настоящий солдат. И даже капитан: четыре звездочки на погонах.

Перед сном мама сказала:

— Придется нам искать другую дачу. Без козы теперь какой смысл?..

На следующий день меня перестало тошнить. Я с аппетитом ел картошку, макая ее в соль. И запивал водой. Мама стала искать другую дачу, но и через три дня ничего подходящего в округе не нашла. Она вернулась злая и усталая.

— Где Августа?

— Не знаю.

— А ну пойдём!

Мы вышли за околицу и увидели, что Августа с Вовкой сидят на кочке. Накинули ватник, а под ним обнялись. Мама закричала и к ним, а они врассыпную. Вовка убежал в лес, а Августу мама догнала и влепила ей так, что из носу у сестры хлынула кровь.

— Что у вас было, отвечай?!

Августа втянула кровь носом, отчего на лице у нее нечаянно возникла довольно глупая ухмылка, — и получила по правой щеке.

— Немедленно в Ленинград! — Мама схватила сестру за рукав и потащила с кладбища. — К гинекологу! И если я узнаю, что ты вот так, за здорово живешь, отдала свою девичью честь — смотри! Собственными руками придушу тебя, растленная!..

Я выбился из сил пылить за ними и отстал.

— Эй, малый! Погодь...

Меня нагнали три тощие коровы и пастух. Одной руки у пастуха не было, другая протягивала мне рогатый череп.

— Ваша?

— Наша, — узнал я.

— Ну, так бери. Не тяжело? Марии передашь: пусть на людей плохого не думает. Козу ее задрала рысь.

— Рысь?

— Она. Давно их в наших местах не было, рысей. С самой войны, поди. А как товарищ Сталин объявил по репродуктору, что жить нам стало лучше-веселей, обратно, значит, вернулись. Поверили... Ей, может, в хозяйстве сгодится или что. Донесешь ли?

— Донесу, — пообещал я.

— Эй! Офицер этот, что к вам ездит... Отец, что ль?

— А что?

— Да так. Обходительный... Папирской всегда угостит.

— Мой отец, — сказал я, — пал.

— Н-но?

— На поле боя... — Я вздохнул. — Смертью смерть поправ.

— Ясно, — сказал пастух. — А это кто ж, офицер-то?

— Так. — Я пожал плечами. — Гусаров...

— Ясно. Ну, давай, сынок... С Богом!

Значит, она меня не забыла — кошка с желтыми глазами. Значит, услышала меня... Может, мы с тобой еще увидимся? Проводи меня до станции... Придешь?

Я волочил за собой обглоданный череп, и слезы от предстоящей разлуки наворачивались на глаза.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ НОЧЬ

День Сталинской конституции — 5 Декабря — они отметили на Садовой, у однокурсника Гусарова — тоже танкиста, тоже гвардии капитана, но с одним живым глазом; другой был, как настоящий, но стеклянный. Потом за ними заложили на крюк дверь квартиры, тоже коммунальной, где тоже боялись воров.

И они оказались в темноте. Потому что и на этой лестнице лампочек не было. Дворники в Ленинграде уже и не вставляют лампочки: все равно их вывинтят или разобьют.

Пролета видно не было, но он жутко ощущался справа. И отделяли от этой невидимой пропасти только перила, которые зашатались так, что мама отдернула руку.

— Где ты?

— Ау, — пошутил Гусаров. — Тут мы.

Он стоял у стены и держал на руках Александра, который крепко держался за его погон.

— Лучше я тебя за хлястик возьму, — сказала мама.

Хлястик такой был у него на шинели сзади.

— Тоже дело, — одобрил Гусаров. — Вперед?

— Только прошу тебя: осторожней!

Они стали спускаться. Ступеньки были сильно битые. Еще не отремонтированные после Блокады. И перед каждым новым шагом Гусарова вниз дух у Александра перехватывало.

Двумя этажами ниже их встретила неожиданная просьба, произнесенная хриплым чьим-то голосом:

— Куревом не богаты, гражданин?

— Имеется, — ответил Гусаров. Портсигар у него был под шинелью, в правом кармане галифе. Он перехватил ребенка левой рукой, и в тот же миг Александр почувствовал, как за него взялись цепкие чужие руки, а в лицо дохнуло перегаром: «Пикнешь — глаз вырву». Он молчал. Руки подергали шапку на Александре, но она была туго завязана под подбородком. Два чужих пальца за это дернули Александра за нос, но в этот момент щелкнул, откидывая крышку, портсигар.

— Бери, не стесняйся, — сказал невидимке Гусаров. — Пару тройку бери! После праздника без курева остаться — последнее дело. По себе знаю.

Невидимка ответил:

— Вот уж спасибо, товарищ военный — извиняйте, чина в темноте не различу. Выручили как! Сразу видно: настоящий вы ленинградец.

После этого невидимка одним рывком сдернул с Александра оба валенка и, продолжая благодарить Гусарова, уступил всем троим путь дальше вниз.

Во дворе мама отпустила хлястик, а он, Александр, отнял от своих глаз руки. Ногам стало холодно, но глаза были целы. Во дворе было светлее — от света из-за обмороженных окон, за которыми еще догуливали праздник.

А на улице, из-за фонарей, стало и совсем хорошо.

Гусаров внес его под своды аркады Гостиного Двора, донес до арки, напротив которой была автобусная остановка и опустил на камень со словами:

— Перекурить надо.

Ледяной камень обжег ноги Александру, который остался теперь в одних хлопчатобумажных чулках, там, под шубой, под шароварами, пристегнутыми к лифу. Александр постоял, переминаясь с ноги на ногу, и взошел — как на котурны — Гусарову на сапоги. Гусаров над ним курил. Мама задремала, прислонясь к стене арки. У мамы с лета медленно, но верно стал расти живот, и сейчас она была толстопузая и некрасивая. Лицо в пятнах, и все время ругается. Особенно на Августу. «Не расставляй ноги, когда садишься!» кричит. «А ну закрой рот!» То ругает Августу, что та худущая, как скелет, то за что она — прожорливая, как Умственно Неполноценная. Александру тоже достается. И даже Гусарову. Поэтому он рад, что мама со своим животом уснула стоя, и оставила их с Гусаровым в покое. Александр начинает играть. Со своими спасенными глазами. Шурится на фонари, превращая их в косые лучи, а потом, резко разжимая ресницы, мечет из глаз ослепительные молнии.

Вдруг крик на всю Садовую.

— РЕБЕНОК БОСИКОМ!

— Разве? — удивился Гусаров. — Точно...

— Ты что, обувь его забыл?

— Да вроде обувал.

— Ах, «вроде»? Вот она, водка ваша! Ведь толкала тебя, толкала... Ни одной не пронес! Куда валенки делись?

— Обронил, может.

— Обронил — так надо возвращаться!

— Не надо, — сказал Александр.

— Эт-то почему?

— Глаз вырвет.

Мама с Гусаровым переглянулись.

— Кто?

— Гражданин тот. На лестнице.

— Ах, это он тебя разул?!

— Он...

— А ты молчал? Его разувают, а он как воды в рот! Вот и будешь теперь дома до весны. Киснуть! Надо же, такие валенки! С галошиками под размер. Сколько я за ними охотилась — и в ДЛТ караулила, и в «Пассаже»! Возьми его на руки.

Гусаров берет. И мама обувает Александра в свою муфту, ругаясь:

— Совсем уже совесть потеряли! Кого? *Ребенка!*..

— За такое, — говорит Гусаров, — лично я бы к стенке.

— Молчал бы уж! Не то, что валенки, ребенка бы отняли ты б и глазом не моргнул.

— Зачем уж так, Любаша... В конце концов — не велика потеря. Новые купим.

— Ах, *купим?!!* Где? Да ты сам, Леонид, как ребенок! Даром что гвардии капитан! Ты жизни, *жизни* и не нюхал! Привык на всем готовом!

— Это ты, Люба, зря. Это, я бы сказал, непартр... непатр... Не по делу... — короче.

— Упился — язык заплетается? Не стыдно, а?

— Ладно там! «заплетается». Чего мы там выпили? Литр на двоих... Говорить не о чем. Ну, будь оно без повода, тогда — да. Согласен. Но по случаю праздника-то? Можно позволить. Лично я так считаю.

— Тоже мне «праздник».

— Ну, а чем не праздник? Праздник! Конституции День.

— «Конституция» мне... Детей на руках у отцов разувают.

— Против Конституции не говори. Дети — да. За детей лично я бы к стенке. Но Конституция Сталинская наша — лучшая в мире. И мир, он этот факт признает. Вон чего-то тащится. Наш или не наш?

— Отсюда любой наш, — говорит мама. — Только смотри, под колеса его не урони!

— Эй, автобус! — С Александром на руках Гусаров сбегает по ступенькам аркады к остановке и — два пальца в рот — свистит. — Стой! Йо-твою, это ж СМЕРШ...

Автобус — без окон и с круглой пеленгационной антенной на крыше — неторопливо проезжает мимо. Это не наш. Время наших автобусов давно уже кончилось, и сейчас по Ленинграду ходят только автобусы, ищущие шпионов.

Мама берет Гусарова за хлястик, Александр за погон, и они пешком возвращаются к Пяти Углам.

Ночь. Фонтанка замерзла. На Цепном мосту, неподвижные, свисают цепи.

И ни души.

ЛОВЛЯ НАЛИМОВ

Под Гатчиной, в Никольском, был мост, а под ним, среди скользких валунов водились налимы — толстые, как змеи, только не длинные. Ловить их надо было на вилку. Затаить дыхание, потом раз! и наколоть сквозь воду.

Все сельские ловили. Не Александр, которому это было строго запрещено, хотя вилка у него была. Именная. Увесистая серебрянная вилка с серыми узорами, хищно изогнутыми зубцами и его именем, выгравированном с вензелями: *Александр А*** — младший*. Дедушка с бабушкой верили в святые свойства серебра. В День Ангела они ему подарили целый столовый набор, каким-то чудом сохранившийся у них от Прежнего Мира.

На заре Августа поднялась. Надела не сарафан, а хозяйкино тряпье из сеней. Обмотала ноги портянками, оставшимися с войны от постоянных солдат, вставила ноги в дырявые резиновые сапоги и ушла по морошку — где-то на болотах росли такие бледно-розово-зеленые ягоды. Не одна ушла, а с ватагой сельских девушек; ей, Августе, разрешалось с ними водиться.

Накормив Егора, мама спрятала левую титю и со сладким стоном повалилась спать дальше вниз лицом. Тогда Александр допил недопитое Августой парное молоко (из-под коровы этим летом), взял с липучей клеенки именную свою вилку, вздохнул — и отправился по налимы.

Снизу мост — подгнившие бревна, сбитые ржавыми скобами, — был похож на своды терема Бабы-Яги. Бурлил ручей. По макушкам валунов Александр вошел в сырую тень, опустился на колени, одной рукой оперся о камень, а другую, с вилкой в кулаке, занес. В этой позе он замер. Тень подвинулась, и солнце высветило ручей вглубь, до песочка. На солнце выплыла стая налимов и остановилась против течения. Александр ткнул в них вилкой, и окунулся вслед за своим ударом с головой. Вода потащила его глубже под мост, больно ударяя о камни. Он сумел затормозить себя, обхватив один. Выбрался на берег, который здесь, под мостом, оброс высокой крапивой. И спохватился: вилка!

Она канула — именная...

Стало не до налимов. Александр исходил под мостом все вылезавшие над водой камни. Он искал с таким рвением, что даже не заметил, как обсох. В ручье он нашел серебрянную монетку

(Екатерининский гривенник), стреляную алюминиевую гильзу от немецкой ракетницы и, наконец, вилку, но не свою, именную, а ничью. Заржавленную вилку с недостающим зубцом и надписью *Ленобщепит*.

С криками под мост сбежали сельские. Сын учительницы Альберт, а с ним еще трое. Двое из них были нормальные мальчишки, маленькие мужички — в кепках, штанах до щиколоток, но босые. Третий, самый старший, был местный дурачок по кличке Минер. Так его прозвали за то, что ему руки оторвало — по локоть — противопехотной миной. Один из мальчишек закричал на Александра:

— Это моя! А ну отдай! — и вырвал вилку из протянутой руки.

Минер остался на берегу, а мальчишки стали ловить налимов, а больше брызгаться и мутить воду. Альберт увидел, что Александр смотрит себе в ладонь и выпрыгнул.

— Это что у тебя?

Александр показал монетку.

— Откуда?

— Нашел.

— Где?

— Вон там.

— Отдай мне, а? Я, — сказал Альберт, — коллекцию собираю. Ты ведь не собираешь коллекцию?

— Нет...

— Ну, и отдай тогда мне. А я тебя за это драть научу. Ты умеешь драть?

— Нет.

— Я тебя научу, — пообещал Альберт. Он обернулся: — Эй, ребята, кончай воду мутить! Давайте Сашка драть научим!

Сельские вышли и оглядели Александра.

— Мал еще.

— Мал да удал! — вступился Альберт. — Ну-ка, покажи им, Сашок.

— Чего? — не понял Александр.

Сельские сплюнули и босыми ногами растерли свои плевки, что означало: презирают. И Минер плюнул тоже, но сам себя оплевал на подбородок.

— Смотри. — Альберт осторожно расстегнул английскую булавку на лишенной пуговиц прорехе своих штанов, застегнул ее снова на краю дырки, после чего вытащил за кожуцу наружу своего петушка и сказал наставительно: — Видишь? Называется «хуй».

— Тоже и «хер» говорят, — дополнил другой.

— Можно и так, — согласился Альберт. — Теперь ты свой покажи.

Александр заложил руки за спину.

— Не могу.

— Это почему?

— Мне мама не разрешает.

— Чего она тебе не разрешает?

— Брать это в руки. — И Александр добавил тихо: — Хуй.

Сельские захохотали. Даже Минер — замычал и запузырился, глядя на Александра.

— Дает, да? Как же ты ссышь, Сашок — без рук, что ли?

— Что это «ссышь»?

— Не понимает!.. Ну, «писает» или как там в Ленинграде у вас говорят.

— «Дюньдюнькать» говорят.

— Как?

Александр повторил. Сельские катались по траве, зажимая сквозь штаны своих петушков.

— Ну и как же ты «дюньдюнькаешь» без рук? — добивался Альберт.

Александр повернулся и пошел. Не нравилось ему все это.

— Обожди, — догнал его Альберт. — Ее ведь здесь нет, мамаша твоя? Давай, Сашок, возьми его в руку! Она об этом ничего не узнает.

— Узнает.

— Это как же она узнает?

— В *кольцо* увидит. — Он вздохнул. — Кольцо у нее есть такое. Волшебное. Потрет его, и все, что я ни делаю, ей в том кольце тотчас является. Куда бы я от нее ни ушел.

Выслушав Александра, сельские посмотрели на Альберта, который нащупал и взял пальцами ноги камешек.

— И ты в это веришь, Сашок?

Александр кивнул. Ногой Альберт отшвырнул камешек.

— Опиум для народа! Нет у нее такого кольца.

— Оно на пальце у нее.

— Я не говорю, что нет. Я говорю: что не волшебное оно. Ничего волшебного в природе нет, Сашок. Кроме сказок для сопливых. Мозги тебе сбут — понимаешь? А ты и уши развесил. Может, ты и в Бога веришь? Который каждого из нас видит?

— Нет. — Александр покачал головой, отказываясь наотрез. — Бога нет.

— Вот и молодец! А ну пацаны, давайте-ка проверим кольцо его мамаша!

Сельские вынули своих петушков и стали их теревить. Петушки их от этого вздулись, лопнули и облезли — прорезавшись, как подосиновики из-под земли.

Минер, у которого рук не было, стал мычать. Тогда Альберт оставил своего петушка и стал доставать из штанов Минера нечто сопротивляющееся. При этом Альберт от усилия морщился, приговаривая:

— Сейчас, Минер, тебя Сашок подрочит.

Он вытащил наружу член Минера, и Александр попятился. Это было что-то страшное. Оно чуть не лопалось, и было таким толстым, что кулак Альберта на этом не сходил. И круто выгнувшись, оно смотрело вверх. Альберт задвигал кулаком на этом — назад, вперед. Рот Минера приоткрылся и выдул пузырь.

— Это и называется «дрочить». Ясно, Сашок? Давай-ка, берись, — и он снял руку. — Да не бойся, не укусит!

Александр приблизился и поднял руку. Ему показалось, что он взялся над своей головой за сук — как на дерево лезешь. Но этот сук был живой. Он был горячий и пульсировал.

— Давай! — скомандовал Альберт.

Ухватясь покрепче, Александр стянул кожу с разбухшей головки сука.

— Вот так! — похвалил его Альберт.

А Минер замычал. Ему было хорошо. Он положил свою беспалую культю на макушку Александра, который от ужаса выпустил сук и отскочил.

— АХ, ВОТ ОНИ ГДЕ! — раздался крик.

Это была мама Александра. По селу Никольскому она расхаживала в кимоно с драконами, а кроме того она только что вымыла голову, и волосы ее расплзались во все стороны, страшно шевелясь, как будто она надела корону из гадюк.

— Да что же это они творят, мерзавцы?!!

Альберт повернулся — и сельские ударили со всей мочи под мост. Через крапиву и по мелководью. Только брызги летели. И в этих брызгах они исчезли, а мама всеми своими змеями нависла над ним:

— Это чем ты тут занимался?

Язык отнялся.

— А ну говори!

— Налимов ловил, — пролепетал он.

— Ах, налимов?!..

Мама села на корточки и рывком сорвала с Александра его короткие штанишки. Она вперила взор в его петушка.

— Не трогал?

— Нет! — Александр затрепетал.

Мама поднялась, вознеся высоко над ним свою страшную корону. Схватила его за чуб и рывком вздернула голову.

— БУДЕШЬ ТРОГАТЬ, СТАНЕШЬ ВОТ ТАКИМ!

Забившийся в жгучую крапиву, Минер был в полной панике.

Пытаясь что-то вымычать, он пузырился и пенился радужной слюной, и вместо оправдания совал свои культи, а из прорехи у него попрежнему торчал крутой красный сук.

Он рванулся, но мама держала крепко.

— СМОТРИ!

От боли в корнях волос вскипели слезы.

— ХОЧЕШЬ СТАТЬ ТАКИМ?

— Нет.

Она выпустила чуб. И пошла из-под моста, энергично крутя задом. Кимоно было подпоясано пояском, и со спины ее на Александра взирал замысловатый китайский дракон. По откосу она — и Александр за ней — взобралась на дорогу.

Сверток с Егором лежал в траве на обочине. Она взяла Егора на руки и сдула с него муравьев. Так была она сердита, что про именную вилку даже не спросила.

СТРАНА АЛЕКСАНДРА

Гвардии капитан Гусаров окончил Бронетанковую академию, стал майором и получил назначение в гарнизон литера такая-то, шестизначный номер такой-то — у самых западных границ. Он убывал сегодня, ночным скорым. Десятиклассница Августа оставалась в Ленинграде, а увозил он с собой в неизвестность свою супругу Любовь, 33-х лет, и шестилетнего Александра, которые сейчас стоят в очереди за китайскими мандаринами у Елисеевского магазина на Невском проспекте.

Они стоят еще снаружи. Хмуро. Ноги стынут. Снег метет. Прорываясь назад из дверей магазина, счастливики тут же вынимают из тугих кульков китайские мандарины, красные, очищают их, разламывают, отрывают белые перепоночки и суют в рот дольку. С счастливыми лицами. Потому что в мандаринах этих витамин, продлевающий Жизнь.

Очередь их, счастливииков, ругает, чтобы отходили поскорей.

Когда они, Любовь и Александр, достаиваются до самых уже дверей, из магазина выкатывается слух, что все, кончилось!.. Но очередь еще стоит. Не верит, ропщет. Но появляется мужчина в белом халате, привстает на цыпочки и официально уведомляет о том, что мандаринов больше нет.

— А завтра будете давать?

— Быть может.

Но «завтра» их уже не волнует: они сегодня уезжают. Навсегда. Ночным скорым. И они на этом успокаиваются. Очередь расходится, молчаливая, по снегу, усыпанному красными свежими корками, — кто куда.

А они переходят Невский проспект и входят в сквер. Вокруг скамейки снегом занесло, а посреди — горой — памятник Императрице Екатерине Великой. Кругом, у ног Императрицы, теснятся избранники империи Российской — полководцы, фавориты, поэты. Мужчины ниже все Императрицы, которая над суетной их толпой высоко держит Скипетр и Державу.

Черен и гладок базальт, и рельеф сглажен снегом.

Они обходят памятник, глядя снизу вверх, а потом, опустив ужаленные снегом лица, спешат домой: смеркается уже. На улице Росси мама говорит:

— Что имеем не храним, потерявши плачем...

Замерзшая Фонтанка уже испачкана горами грязного снега с набережных.

Вот и улица Ломоносова, где в марте прошлого года дедушку так удачно сбило каретой неотложной помощи, когда он напился по случаю смерти Вождя.

Пять Углов. Поворот, подворотня, где уже темно. Двор-колодец. Парадное с битой ступенькой. Лестница — пролет, перила... Седьмой этаж. Они входят с черного хода, то есть — прямо на кухню их коммунальную, где бабушка гасит свою папиросу в серой ракушке и бросается маме в ноги.

— Любовь! — И откидывает набриолиненную голову. — В последний раз: отдай нам Александра! Христом-Богом прошу.

— Зачем вам мальчик, вы же его погубите! — кричит мама, отскакивая. — Вы не сумеете созвучно воспитать!

— Мы воспитаем, — бормочет дед, ловя ее руку. — Мы отдадим его в Мариинку, в балетную студию. Клянусь тебе: великим танцором воспитаем, звездой... или в Нахимовку, на офицера флота... Любовь! В последний раз?

— Нет, нет и нет! Мать — я! И он усыновлен!

Дед, стоя на коленях, обнимает Александра.

— Внучек, прощай! Что бы ни случилось — ты не без роду-племени, запомни. Из Санкт-Петербурга ты.

— Да никакого Петербурга нет, старорежимные вы люди! Не слушай глупостей: есть только *Ленинград!* Не смейте этого, не смейте! — оттаскивает она дедушку, который ползет на коленях к Александру, продолжая часто-часто крестить пустоту перед собой:

— Храни тебя Господь!

— Храни тебя Господь!

— Храни тебя!..

Скорый с Витебского вокзала отходит, когда Александр уже спит.

Когда он просыпается, Санкт-Петербурга уже нет. И даже Ленинграда.

Пусто в окне.

Снег идет.

— Смотришь? — Гусаров взъерошивает ему голову. — Смотри — смотри. Это — твоя страна.

Страна была вся белая. Поля, леса. Чернело, где осыпалось словых лап. И небо.

А потом стало смеркаться, и на Александра из стекла вдруг посмотрели его же глаза. В упор.

Радио запело «Землянку», и мама припала к Гусарову, который

ее обнял, чтобы не жестко было от стены. С остановившимися глазами подпевая, они покачиваются на стыках рельс.

*Пой гармоника вьюге назло.
Запутавшее счастье зови.
Мне в холодной землянке тепло
От твоей негасимой любви...*

Вечером, когда стояли пятнадцать минут, папа принес из Орши пиво и лимонад с уже нерусским названием «Журавінны».

— Из журавлей что ли? — засмеялась мама.

— А кто его знает? — сказал Гусаров. — Белоруссия! Та же вроде бы Россия, а вот поди... Не разбери-поймешь!

От этого лимонада в полночь у Александра началась рвота.

А потом он потерял сознание, так и не досмотрев свою страну до западных границ.

Гусаров сказал:

— Давай, брат. Овладевай!.. А мы на тебя с мамой посмотрим. И закрыл дверь квартиры.

Цокая о ступеньки металлом купленных ему еще в Ленинграде «снегурок», Александр спустился с третьего этажа, ударом плеча выбил примерзшую дверь и выпал наружу.

Двор был сияюще пуст. Город был незнакомый. Следуя скорым к месту назначения гвардии майора Гусарова, усыновившего его как родного, Александр внезапно заболел. Как послевоенный ребенок, он не отличался крепким здоровьем. К тому же, будучи по отцу, деду, а также прадеду ленинградцем-петроградцем-петербуржцем, подорван был генетически начиная с третьего колена. Но его мама и новый папа гвардии майор Гусаров, владея в объеме средней школы историей СССР, знали, что великий русский полководец генералиссимус Суворов, кстати, тезка, свое хрупкое здоровье в детстве сумел переломить закалкой, а потому отнюдь не считали случай Александра безнадежным. Во время болезни Александру исполнилось 7, и как только он выздоровел, уже на новом месте у западных границ, его поставили на коньки и крепко-накрепко зашнуровали. Коньки были фабричным способом припаяны к подошвам, так что снять их не было никакой возможности.

Александр поднялся. Подламываясь в лодыжках, он доцокал до середины двора, откуда его стало видно маме с Гусаровым. Он помахал им рукой. После чего — под наблюдением ощущая чувство ответственности — приступил к занятию зимним видом популярного национального спорта. Сделав круг по бугристому льду, он поднял глаза. Из окна наблюдатели сделали знак «продолжать в том же духе». Александр стал продолжать. Продолжая, он наехал на крышку люка, которая вдруг провалилась, и конькобежец Александр с поверхности двора исчез. Но этого ни мама, ни Гусаров уже не увидели, потому что как раз за мгновение перед внезапным его исчезновением, они обнялись и отошли от окна, удалившись в комнату, которая в этой коммунальной квартире ДОСа — Дома офицерского состава — на троих была одна, почему и приходилось в отсутствии третьего не терять даром времени.

Александр пришел в себя на дне колодца и вновь поднялся на «снегурки». Он не погиб. И даже не сломалось в нем ни косточки.

Было глубоко и черно — оттого что, поглотив жертву халатности рабочих коммунального хозяйства этого города, круглая чугунная крышка приподнялась и стала на свое место. Там, наверху, сияла выгнутая узким полумесяцем полоска света. Там, наверху, мороз и солнце... Стоя во тьме, Александр зубами стащил варежки и принялся ощупывать стены своей ловушки. Они были из кирпича. Потом руки нащупали ребристую железную скобу, над ней — еще одну. Александр приступил к восхождению. Лязгая железом о железо, он перебирал скобы и взглядывал на яркий полумесяц. Потом он уперся через шапку своей макушкой о чугун и сразу предвосхитил, что ни приподнять его, ни даже сдвинуть он не сможет. Снял руку со скобы, попытался просунуть пальцы в щель — нет, не выйдет и так. Ждать, когда пройдут над ним? Но двор был пуст, так было рано. И было воскресенье. А руки коченели, ослабевая. Такой вот капкан. Бескорыстный... Кто его расставил? Никто. Но я в него попался. «Я!» — крикнул гневно Александр. Эхо отозвалось. Вот так. Никто на него не охотился, значит, и на выручку не придет никто.

Чтобы не упасть вторично, и не сломаться на этот раз, Александр поспешил спуститься на дно колодца самостоятельно. Там он сел на корточки, обхватил колени. «Возьми себя в руки, Александр», — говорит мама. Вот он себя и взял. И держал, не выпуская. Только машинально лязгал «снегуркой» по битому бутылочному стеклу. Надумав, он снова поднялся на коньки и впритирку к кирпичу пошел кругом. Р-раз! руки провалились в пустоту, и Александр снова упал, но на этот раз удачно — сокрытый тьмой, в стене колодца был вход куда-то. Тесный. Александр опустился на колени. Вынул из кармана и надел варежки. Принагнул голову и, обшаркиваясь плечами, пошел на четвереньках навстречу неизвестности. Долго ли, коротко ли шел Александр, чихая от пыли, только путь ему преградила решетка. Железная.

Устроившись рядом с решеткой, он неторопливо и тщательно ее ощупал. Снаружи решетка должна была запираться на всякий замок, но — по халатности, на этот раз спасительной — была заперта просто на алюминиевую проволоку, которую Александр, высунув руку, размотал.

Открыл решетку, выполз и поднялся на коньки.

Под землей он потерял ориентацию, поэтому был очень удивлен, что оказался вновь в подъезде собственного дома, куда на этот раз он не спустился, а поднялся из подвала. Он закрыл за собой дверь с надписью «БОМБОУБЕЖИЩЕ», выбил дверь подъезда, которая опять примерзла и, подламываясь на лодыжках, вышел во двор.

Солнце и мороз. С трансформаторной будки посреди двора попрежнему скалился череп над надписью «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ». Шурясь на лед, он доцокал до коварной чугунной крышки,

опустился на колени и, поднатужившись, столкнул ее в паз до конца. Поднял голову на окно в третьем этаже.

Оно было пустым. †

Он набрал снегу, который рядом с люком хорошо лепился. Поднялся на «снегурки», размахнулся и вlepил черепу снежком прямо в пустую глазницу. Заложил руки за спину, оттолкнулся и пошел выписывать круги по льду, сожалея только об одном — что любоваться возрастающим его мастерством некому.

П И С Т О Л Е Т

Соседи по коммунальной квартире, капитан и капитанша Асадчие, пригласили их на День Советской Армии — 23 февраля.

С порога Александр увидел, что капитан Асадчий не сдал после дежурства пистолет.

Как ребенка, его за стол не посадили. Просто налили стакан лимонада «Журавинны». Иногда от этого лимонада у него была рвота, иногда понос, и на этот раз пить Александр не стал.

— Что ж, — сказал отец. — Приумножим боевой потенциал?

— Поехали! — сказал капитан Асадчий.

Офицеры выпили бутылку водки, их жены пили шампанское, а потом, поскольку патефона не было, стали хором петь песни Великой Отечественной войны, а также новые, про любовь, которые передают по радио в любимой программе Александра «По вашим заявкам»: *Как много мы встречаем в жизни глаз, За хорошей дружбою прячется любовь, Помнишь, мама моя, как девчонку чужую я привел к тебе в дом, у тебя не спросив, Зачем смеяться, если сердцу больно, зачем играть в любовь и притворяться, когда ты день и ночь мечтаешь о другой* и еще, а в это время им невидимый Александр извлек «Макарова».

Из негибкой кобуры, ремешком зацепленной за шишечку этажерки.

И — прижался к стене, прижимая «Макарова» к животу. Он закрыл глаза и слышал, как в животе стучит сердце.

Это было его второе свидание с «Макаровым». Первого в своей жизни, спрятанного отцом, вернувшимся со стрельбища, он снял со шкафа, подставив под себя два стула, один на другой, ножками на сиденье, а это было не просто совпасть. А удержаться — еще сложнее. Оставив кобуру пустой лежать в пыли, он осторожно спустился на пол. Положив «Макарова» на родительскую кровать, он разобрал стулья и задвинул их обратно под круглый стол. Подумав, он стащил со стола плюшевую скатерть и накрыл ей свой к а б и н е т — большой картонный ящик. В боку была прорезана дверца. В этом кабинете Александр уединялся, читая и перечитывая свои первые книги. Это были очень интересные книги: «Устав строевой службы», «Устав караульной службы», «Танк», «Инструкция по противотанковой защите», «Легкое стрелковое оружие иностранных армий», «И.В. Сталин о военном искусстве», «Момент внезапности» и «Бдительность — первый долг воина». Еще здесь была винтовочная обойма с пятью патронами, увы, холостыми, старый полевой планшет, а также перочинный ножик, который Александр постоянно

— чтобы придать ему воинственность штыка — держал в раскрытом состоянии. И так, с «Макаровым» в руке он влез в ящик, накрытый скатерью. Он сидел, согнувшись, и смотрел в сумраке на «Макарова», преобразившего его правую руку. Потом «Макаров» повернулся и посмотрел в глаза Александра своей дважды окольцованной черной дыркой. Насмотревшись в дырку, он переложил пистолет в левую руку. Пальцами правой он крепко сжал косые черточки резьбы по обе стороны кожуха. Глубоко, прерывисто вздохнул и, задержав дыхание, стянул кожух, оголив ствол. До упора, а потом — неизвестно почему — «Макаров» в этом состоянии зафиксировался. Дальше кожух не шел, но и обратно не надевался. Обезобразился «Макаров». «Испортил я тебя», — подумал Александр и всхлипнул. Слезы закапали на погибший пистолет. Вдруг крыша-скатерть с ящика отлетела, и он весь, с пистолетом в руке, оказался, как на ладони. «Дай», — опустилась мужская рука. Александр развернул пистолет рукоятью и вернул законному владельцу. Щелчок — и кожух покрыл ствол. Как просто! «И больше не трогай боевое оружие», — сказал отец — гвардии майор.

И вот, на празднике у капитана Асадчего, Александр нарушил запрет. Вжимаясь в стену за своим сквозным укрытием, этажеркой, он испытывал ужас. Они все пели, но уже охрипшими голосами, и каждое мгновение отец мог оглянуться над своим погоном: «Ты чего это там? Подойди-ка!» С «Макаровым» выйти из укрытия он не мог. Но не мог и обратно его в кобуру, потому что восторг был сильнее ужаса. И чем больше он сливался с пистолетом, тем все восторженнее и восторженнее было ему. Но как же все-таки быть?..

Уже клевали носом женщины, уже офицеры добились вторую поллитру, и капитан Асадчий, кулаками сжимая распахнутый на волосатой груди китель, пел и плакал:

*Черный ворон, черный во-о-орон,
что ты вьешься надо мной?..*

как вдруг явилось решение.

Александр сползает по стене. Осторожно кладет пистолет на крашеную половицу и задвигает под этажерку. Глубоко — пока входит рука. «Когда об этом забудут, и капитану Асадчему выдадут другой, — у них их много, — постучусь к ним, что-нибудь почитать... Вот эту: «И один в поле воин»... Дольд-Михайлика... И унесу тебя».

Ночью к ним негромко постучались. Плачущим голосом жена капитана Асадчего произнесла что-то в коридоре, и Александр притворился спящим. Вдруг всё всполошилось. Сквозь веки вспыхнул свет. Александр приоткрыл глаза, и сразу понял, что капитану

Асадчему капут. Как Чапай, окруженный беляками, как перед расстрелом, капитан стоял посреди их комнаты — босой, с голубыми венами на ногах, с мозолями, натертыми сапогами, с болтающимися штрипками галифе, которые, по-индюшьи раздуваясь над коленями, без сапог выглядели так, что было больно смотреть. Он был в белой полотняной рубашке, растерянно выпущенной поверх галифе, и руки его набрякше свисали. Полураздетые, как в предбаннике, вокруг него стояли его жена, мама и протрезвевший папа Александра.

Стояли и смотрели на капитана Асадчего.

— Может, он его у полюбовницы забыл? — предположила капитанша. — Да боится сознаться?

Мама и папа Александра переглянулись.

— Ты нам откройся, Вань, — вдохновленная этой последней надеждой, взмолилась жена капитана. Розовая австрийская комбинация с уже пооторвавшимися кружевами была на ней в обтяжку. Она протянула к мужу руки, приоткрывая сверкающие от пота волосы подмышкой. — Ты, может, с дежурства идя, свернул на другой огонек? А там обронил его как-нибудь невзначай?

— А, Иван? — поддержал папа Александра. — Дело житейское, с кем не бывает.

Мама перевела взгляд на папу.

— Что ты этим хочешь сказать?

— Помолчи! — оборвал отец. — Говори, Иван.

Капитан Асадчий всхлипнул.

— К-какой там огонек. Если бы! Теперь мне только под трибунал, товарищ майор. А лучше — в петлю! Чтобы, значит, честь офицерскую спасти. — Он взвел глаза, с треском надрывая на себе рубашку. — Черный ворон, весь я твой!

И тут Александр заплакал, и все, кроме капитана Асадчего, который тоже плакал, посмотрели на мальчика — как он откидывает одеяло, как он спускает на пол ноги. И двинулись за ним, — он был в ночной рубашке до пят, — босые, в комнату капитана, где зиял пустотой шкаф, а из чемоданов все австрийское было вывалено прямо на пол, и голая лампочка безжалостно освещала запачканные багровым тарелки вокруг трех пустых бутылок — мрачно-зеленых, и одна из-под шампанского.

Александр опустил на колени, вынул «Макарова» и, прижав его к сердцу, разрыдался.

УЛИЧНОЕ ДВИЖЕНИЕ В ПЯСКУВЕ

Дома офицерского состава — ДОСы — были построены после войны немецкими военнопленными. Домов было четыре. Они находились на самой окраине Пяскува — городка, основанного на крутом берегу Немана тысячу лет назад. Этот город принадлежал то Литве, то Польше, то России, то снова Польше, но на этот раз, после Победы, раздвинувшей наши границы, польским быть перестал, с чем исконное население его как-то быстро свыклось — быть может, в силу того, что и сама Польша в известном смысле себе уже не принадлежала. Вот уже с десять лет Пяскув был нашим. Штаб Армии находился в центре; вокруг, подтянутые к самым окраинам, были расквартированы части. По праздникам город расцветивался нашими красными флагами.

С другой стороны — все так же посреди Пяскува высился костел, на высокой паперти которого Христос сгибался под тяжестью мраморного креста, и на воскресную мессу сюда по-прежнему стягивались на подводах нарядно одетые крестьяне из окрестных деревень. После мессы подводы, гремя по торцам, съезжались на рынок. Это был изобильный город, Пяскув. В Ленинграде, например, Александру никогда не давали целое яблоко сразу, только половинку. Здесь же яблоки, а перед этим вишни, покупались ведрами. И крестьяне кланялись, принимая деньги, и называли маму «пани офицера».

В Ленинграде они теснились в маленькой комнатке вчетвером; здесь же, не сразу, но вскоре им дали двухкомнатную квартиру. И мама наняла домработницу, краснощекую девушку Ядзю. А вдобавок ко всему у них еще и машина появилась. «Виллис». Не собственная, правда, но машина им была по л о ж е н а: всегда можно снять трубку телефона и поветель к такому-то часу машину гвардии майора Гусарова к подъезду.

Так что 1-го сентября — первый раз в первый класс — Александр не пошел, а поехал в школу.

Но уже на следующий день от машины он отказался наотрез.

— Это что еще за глупости? — спросила мама. — А ну влезай!

Но он не влез. Взялся за лямки ранца, обежал угол и отправился в школу пешком — по длинной обулыженной улице Скидельской, за высокими кирпичными стенами которой на другой стороне уже рычали невидимые танки, мимо запертых ворот рынка, через мост над железной дорогой, а потом налево, тянущейся над откосом пустынной улочкой с проваливающимися плитами, с травой,

заброшенно вылезшей между торцами, а потом направо, под глухую и высокую, за м ко в у ю стену тюрьмы, за углом которой Александр исчезал в лабиринте средневекового сердечка Пяскува, где улочки были такие тесные и даже в солнце темные, что машины сюда и не совались. Объезжали. А их, машин, на всю школу было две — серая «Победа» первоклассника Понизовского, сына полковника-особиста, и роскошный — ощерившийся зеркальным никелем — черный «ЗИМ» первоклассника Аракчеева, чей отец был здесь величиной абсолютной: Командующим Армии.

Остальные приходили пешком. Даже те, кто жили не на этом высоком берегу, а за Неманом, на противоположном низком, где лежала худшая, не каменная, а деревянная половина города. И дети оттуда были не просто безмашинной серостью, а рванью. Форменной одежды, утвержденной для школьников Министерством просвещения, — фуражка, гимнастерка, ремень — у них не было, и даже некоторые приходили просто в галошах на босу ногу. Лица у них были бледные и битые, и не только к машинам, даже к «виллису», они сбегались и к бутерброду Александра, завернутому дома мамой в бумажные салфетки и в хрустящую кальку: «Дай, — кричали, — куснуть!» И они писались на уроках, или у них шла носом кровь, и они вываливались, упавши в обморок, в проходы между рядами парт. И были некрасивые и подлые. И было их — подавляющее душу большинство, которое сначала раздавалось перед машиной, въезжавшей на школьный двор, а потом сбегалось к ней и льнуло к зеркальным бокам, оглаживая выпуклые формы грязными руками. Раскрывалась, их оттесняя, дверца, выходил нарядный солдат — личный шофер Командующего. Обходил «ЗИМ» спереди, отворял заднюю дверь и, склоняясь, принимал портфель первоклассника Аракчеева, который соскакивал следом уже с пустыми руками. Высокий и румяный, этот одноклассник Александра с веселым недоумением взирал на суету вокруг его машины — и проходил мимо, а солдат, почтительно сутулясь, нес за ним портфель до самого порога.

Однажды шел дождь, и Александр шел в школу. Одинокий, но среди школьников, растянувшихся по тротуару.

Вдруг к нему сворачивает серая «Победа». Дверца ее распахивается, и изнутри говорят:

— Эй, Сашок! Нам вроде по пути?

А он проходит мимо.

«Победа» обгоняет.

— Чего ты мокнешь, как дурак? Садись, подкинем!

Пешие школьники оглядываются на него с завистью, а потом с

удивлением, потому что Александр продолжает делать вид, что приглашения не замечает. И проходит мимо. Тогда, нагнав, «Победа» начинает ползти с ним рядом на одной скорости — с придержанной изнутри дверцей, через открученное стекло которой оба Понизовских, первоклассник и особист-полковник, зовут вовнутрь Александра — туда, где сухо и тепло. Потом полковник перегнулся, захлопнул дверцу, и «Победа» газанула, обдав Александра грязными брызгами.

— Чего это он задается? — спрашивает Понизовский-младший.

— Да неспроста, должно быть, — отвечает задумчиво Понизовский-старший. — Надо бы звякнуть его матери... Ты мне напомни, сынок, если забуду.

— Ну хочешь, — предложила мама, — мы тебя только до угла будем подвозить, а дальше ты сам? И после школы точно так же: до угла сам, а там мы тебя с Медведем (их шофером) будем ждать. Договорились?

— Да пусть бьет ноги, если охота, — сказал Гусаров. — Чего ты к нему пристала?

— А ты не вмешивайся! — вскипела мама. — «Чего пристала». А чего мне этот ваш особист звонит, а? Нотацию мне целую прочел! «Советую вам обратить внимание на воспитание в мальчике духа коллективизма, а то, — говорит, — сразу видно, что он у вас в детский сад не ходил. Обособляется, — он мне говорит. — Бросает вызов! Вы, говорит, за ним уж проследите, а то — знаете? — в тихом омуте...»

— Кто, Понизовский? — вскричал Гусаров.

— Ну, а кто же? Он.

— Эт-то по какому праву?.. Ну, ничего. Я с ним поговорю.

— Ты что? Не вздумай у меня!

— Скажу ему пару ласковых.

— И этот туда же! — сказала мама. — Знаешь, Леонид? Давай-ка ты своих подчиненных воспитывай! А воспитанием мальчика я уж сама займусь.

— А-а!.. — издал Гусаров горловой звук.

Махнул рукой и вышел.

— Отца расстроил, — сказала мама. — Завтра с утра уж ладно, пешком пойдешь. Тем более с утра машины нет: папа на полигон едет. Но после школы, — возвысила она голос, — чтобы шел мне прямо к углу. Там мы тебя будем ждать. Договорились?

На следующий день она приехала на угол к последнему звонку, оставила «виллис», взбежала на школьный двор, спряталась за

красный клен и взяла под наблюдение крыльцо. Дверь распахнулась, с криками во двор стали выдавливать школьники. А вот и Александр. Который на угол и не думал идти, решительно взяв направо, открыв, а потом изнутри закрыв за собой калиточку приусадебного участка. Она пошла за сыном, который, не подозревая, что взят — выражаясь профессиональным языком — под *наружное наблюдение*, ускользал себе сквозь заросли шиповника виляющей тропкой.

Александр пролез в пролом забора. Здесь, по-над железнодорожным откосом, заросли были еще гуще. Натянув на уши воротничок форменной гимнастерки и царапая руки, он нырнул в колючки, прорвался, а потом постоял немного, созерцая откосы, красиво выложенные лозунгами из битого кирпича, и сходящиеся под углом вниз — к поблескивающим рельсам. Стоя так, он из первоклассника с ранцем за плечами мысленно преобразился в пограничника из кинофильма «Застава в горах», которому с риском для жизни сейчас вот предстоит выследить опасного диверсанта, на коровьих копытах коварно пробравшегося на нашу советскую территорию, — догнать и обезвредить, связав ему за спиной руки. Пограничник Александр приступил к спуску по крутой наклонной плоскости.

Вдруг позади него — хруст, треск, вскрик! Из колючек шиповника выломалось что-то тяжелое и живое. Он глазам не поверил: мама!.. Что-то гневно крича, мама уносила мимо него, и вот она упала — и кубарем покатила под уклон.

На пути у нее возник красный лозунг. Раскатив по траве обломки кирпичей, мама стала замедляться, а потом — бух — ввалилась в канаву.

Александр уступами — бочком, бочком, бочком — сбежал к месту исчезновения мамы.

Она была жива. На лице у нее была вуаль с черными мушками, и сквозь нее мама стонала, до побеления костяшек сжимая в кулаках пучки пожухшей травы, выдернутой с землей. Александр наклонился и спросил:

— Это ты, мама?

— Кто же еще!.. Руку дай.

Он дал, и мама, охая, поднялась на ноги. И подняла вуаль с лица. Это была действительно она.

— Но как же ты... Что же ты тут делаешь?

— А ты?!

— Я? Я домой иду.

— А на угол, где договаривались, почему не явился? Почему в машине не едешь? Почему, наконец, *нормально* не ходишь? Как все дети? Через железную дорогу зачем поперся? А если б тебя поездом переехало, — а? А?

Крича и охая, мама расстегнула на себе свое манто, желтое и с черными полосами на плечах. Поочередно обнажая колени, отстегнула и скатила с ног порванные чулки. Скатила их и всунула себе в накладные карманы. Длинными и острыми ногтями пальцы ее прорвали нитяные черные перчатки. Мама их стащила палец за пальцем, спрятала вместе с чулками и посмотрела на откос с рассыпавшимся лозунгом. Теперь, при всем желании, пассажиры из мимоезжих поездов ничего на этом откосе прочесть бы не смогли.

— Что же мы это с тобой натворили? — ужаснулась мама. — А ну, давай обратно складывать! Да в темпе!..

И — босая — полезла кверху. По пути она подобрала свою туфлю на отломившемся каблучке и спрятала в карман, а он, Александр, нашел вторую, целую.

Ползком по наклонной плоскости они в четыре руки подобрали все обломки пачкающего пальцы красной пылью кирпича, сложили обратно в буквы, после чего вытерли руки о траву.

Спустились, перешли рельсы и побрели гуськом по тропке вдоль. Мама оглянулась.

— Ну, а если б меня арестовали?

— За что?

— Как, то есть, за что? За лозунг этот. — Она отвернулась, завела назад руку и потерла через манто себе попу. — За осквернение.

— Ты же нечаянно! — возмутился Александр.

— Это еще доказать надо! Кто бы поверил? Приписали бы злой умысел — и в Сибирь. Лет так на десять! Меня в лагерь, Леонида — в штрафбат, ну а тебя, всего первопричину, в питомник. Для детей врагов народа.

— А разве есть такие?

— Враги народа?

— Нет, питомники.

— Сейчас не знаю, — сказала мама, — а раньше-то полно их было... Слава Богу, никто нас вроде не увидел — а? Я-то со слепу была, а у тебя зрение детское: никто?

— Никто.

— А если б поезд проходил? Взяли бы пассажиры, да и составили бы коллективное письмо. Куда следует.

— А куда?

— Неважно, — сказала мама. — А все ты! С твоей манией выискивать окольные тропки. — Мама остановилась и повернулась к нему. — В жизни, Александр, надо шагать положенным путем. Ясно?

— Ясно.

— А если положено ездить, так надо ездить! Впредь у меня чтоб ездил, как все. Ясно?

— Ясно.

Они вскарабкались на откос и оглянулись. На противоположном — под косыми лучами сентябрьского солнца — четко читался злополучный лозунг:

ДЕЛО СТАЛИНА — ВЕЧНО!

Он вышел во двор. У подъезда стоял «виллис». Дождь барабанил по его брезентовой крыше. Сапоги Гусарова исшаркали подножку до голого железа. Дверей в машине не было, из проёма насмешливо смотрел рядовой Медведь.

Он снял ранец, влез на растрескавшееся кожаное сиденье и взялся за скобу поручня.

— Здравия желаем! Ну что, поехали?

Он промолчал.

— То-то!.. — заключил Медведь.

Повернул ключ зажигания, и кованой подошвой кирзача утопил стартер.

УРОК ЧИСТОПИСАНИЯ

В Пяскуве маме предложили взять Александра сразу во Второй класс: читать-писать он уже умел и, как дитя Ленинграда, превосходил своих сверстников по о б щ е м у развитию.

— Пусть будет, как все, — решила мама. — Не хочу, чтобы ребенок выделялся!

И отдала Александра в Первый.

Где сразу выяснилось, что лучше бы и не умел он писать. Потому что пишет он неправильно. Криво пишет. А надо было — по линеечкам. Каллиграфически.

Над столом мама раскатала и прикрепила Ленина и Сталина, а справа — Политическую карту мира. Уже темно в их комнате, только нежно-зеленым излучением светится стеклянный абажур настольной медной лампы. Гусаров вот уже неделю на осенних маневрах, и мама учит Александра каллиграфии.

Раскрытые Прописи, утвержденные Министерством просвещения, прислонены к столбику лампы. Линеечки горизонтальные, линеечки косые. И с идеальной четкостью и плавностью изгибчатых переходов толстых линий в тонкие в линеечки эти впечатались три слова:

МАМА РОДИНА МОСКВА

Всматриваясь в Прописи, он, Александр, старается скопировать эту четкость. Тремя пальцами — большим, средним и указательным — сжимает он по-разному жестяное оперенье красной деревянной ручки, но перо его уходит за тетрадные линейки, и вместо этой вот *РОДИНЫ* получается черти что. Под взглядом мамы с полтетради уже исписал Александр этими загогулинами и продолжает в том же духе, добиваясь четкости, ибо мама пригрозила ему, что он спать не ляжет до тех пор, пока не выйдет у него целая страница вот таких, как в Прописях, — идеальных... Страница!..

Когда и загогулин двух одинаковых подряд не получается. Ни одна его *РОДИНА* не похожа на другую. Ни *МАМА*. Ни *МОСКВА*... И он уже еле-еле ворочает ручкой.

Но вот — внезапно! — начинает выписываться.

— Не горбись! Прямо мне сиди! — толкает в спину мама, прикрикивая так, что рот Александра выходит из повиновения и начинает некрасиво, толстогубо трястись.

Срывается слеза и губит слово.

Втягивая чернила, слеза разбухает кляксой. И уже не слово — страница загублена...

— Ньюни распустил? — раздаётся грозно над оцепеневшей головой Александра, на которой уши сами поджимаются.

(У них, ушей, такое обнаружилось свойство — смещаться.)

Звеня стеклом и нервно булькая, мама за его спиной наливает воду из графина. Ставит стакан:

— Пей!

Живот изнутри толкается, протестуя, но, укрощая организм, Александр выпивает — чайный стакан кипяченой воды комнатной температуры. Мертвой.

Мама показывает свои руки. На левом безымянном — золотое кольцо с двумя бриллиантками и царапающейся дырочкой вместо третьего.

— Делай, как я!

Руки сжимаются в кулаки, кулаки с хрустом выстреливают растопыренными пальцами с облезлым на ногтях маникюром. И снова собираются в кулаки, натягивая кожу до голубых прожилок.

— *Мы писали, мы писали,* — сурово задает мама ритм, и, выбросив свои пальцы, Александр подпрыгивает от боли в суставах.

...наши пальчики устали.

Раз, два, три, четыре, пять —

Будем снова мы писать!

— Усвоил? Продолжай самостоятельно!..

Он продолжает.

Она влезает на стул и достает со шкафа из присланной из Ленинграда пачки новую тетрадку. С глянцевитыми страницами, какие только в Ленинграде на писчебумажной фабрике умеют делать, а здесь, в Пяскуве, такой культуры нет. Мама раздевает слезой испорченную тетрадь и в обертку из кальки вдевает обложку новой. Разглаживает — ребром ладони. На обложке наклеена вырезанная Александром и гусаровским карандашом «Стратегический» раскрашенная пятиконечная звезда.

Красивая, как на танке...

А на указательном пальце сделалась уже вмятина с вьевшимися в кожу чернилами.

— Все потому что у меня палец кривой.

— Вовсе не кривой.

Александр созерцает свой палец. Не то, чтобы кривой, но все-таки ноготь косит.

— У меня что, в детстве рахит был?

— Никакого рахита у тебя не было. — Мать сводит брови. —

Плохому танцору, Александр, знаешь?..

— Это Гусаров так говорит.

— И яйца мешают?

— Не выражайся, не то, — дает ему мама небольшой подзатыльник, — рот мылом пойдешь мыть.

— Гусарову, так ему можно...

— Гусаров, — говорит мама, — культурой речи в окопах овладевал. Тогда как у тебя — все условия. И ты мне зубы тут не заговаривай! Пиши давай.

Со вздохом Александр потащился тяжелой ручкой в непроливашку золотисто-зеленую, ткнул пером. И повел по голубеньким тетрадным линейкам, одновременно втягивая голову перед неминуемой на этот раз затрещиной: вместе с чернилами перо ущемило волосок...

— Не беда, — сказала мама. — Вырвем первый лист.

В тетрадке их двенадцать, так что незаметно. Мама вырвала, выдернула последний. Пачкая пальцы, сняла волосок.

— Давай! А то уж полночь близится... А может быть, ты просто не понимаешь, почему я день-деньской бьюсь с тобой за это чертово чистописание, а? Отвечай. Понимаешь, нет?

— Чтобы, как в Прописях...

— Нет, Александр. Не чтобы, как в Прописях. А чтобы ты с первых своих шагов в Большую Жизнь воспитывал в себе Силу Воли. Иначе из тебя ничего не получится. Мужчина без Силы Воли — не мужчина, а тряпка. Хлипкий интеллигент! Твой дед, к примеру... Мог бы стать известным архитектором, уважаемым в Обществе человеком, а стал кем? Пьяницей и мелким игрочишкой. Асадчие меня сегодня приглашали в Дом Офицеров на французский фильм. Я что, пошла? Я осталась. Я откажу себе во всем, во всех Радостях Жизни, лишь бы ты стал Мужчиной и добился своего. Ты хочешь стать Мужчиной? Отвечай.

— Ну, — дернул он плечом, — хочу.

— А без «ну»?

— Хочу.

— Тогда давай. Пиши! Тяжело в ученьи, легко в бою, — повторила Любовь ключевую формулу воспитания русского солдата, взятую из учебника генералиссимуса Суворова «Наука побеждать».

ГАРНИЗОН У ЗАПАДНЫХ ГРАНИЦ

Папа принес из штаба армии две поллитры и черную весть — в Будапеште сбросили нашего Вождя. Гранитный памятник ему, сработанный на века.

— Где там у тебя мой *тревожный*?

Мама вышла и вернулась, бросив ему к забрызганным грязью сапогам еще с войны трофейный баул с обтертыми на учениях боками свиной кожи.

— Когда ты едешь?

— Приказано быть завтра в шесть ноль-ноль. — Папа потрепал Александра по макушке. — Ничего, сынок! Мы наведем порядок в этом мире.

— А это что?

— Это? — Папа приподнял к глазам сетку с бутылками. — Это мы с Загуляевым решили посидеть. Он тоже уходит завтра. Перед стартом, понимаешь? В порядке укрепления морального потенциала. Ты, надеюсь, ничего против не имеешь?

Командир эскадрильи истребителей Загуляев имел двух девочек. Старшая всегда казалась Александру рассудительной, но сейчас, на кухне, она явно делала не дело: взяла бутылку «Московской», подковыряла ножом станиолевую крышечку, сняла осторожно и стала выбулькивать водку прямо в раковину.

Александр схватил ее за руку.

— Ты что, рехнулась?

— Отстань! — оттолкнул его локоть.

— Им же не хватит!

Но девочка опорожнила бутылку, после чего наполнила ее водопроводной водой, надела крышечку и, взяв нож, аккуратно обжала кругом и погрозила Александру кулаком:

— Няябедничаешь — кровью умоешься.

— Очень надо мне на тебя, дура, ябедничать, — обиделся Александр и вернулся в комнату к взрослым.

Там как раз офицеры хлопнули по первому стакану, и командир эскадрильи истребителей, вырвав локоть из цепких пальцев своей жены, тут же, не закусывая, стал разливать по второму. А папа сидел зажмурившись, прижав к усам кулак и тянул в себя носом, как бы своим же кулаком занюхивая. Открыл глаза и объявил:

— Все, детонатор сработал. Доигрались! Теперь остается только ждать взрыва в Польше. Что ж, дорогой наш Никита Сергеевич... За

что боролись, на то и напоролись!

И грохнул кулаком по чужому столу так, что тарелки подпрыгнули.

Загуляев — они сидели за столом плечо в плечо — крепко обнял папу.

— Ты это, Ленька, брось!

— Как, то есть, брось? — освободился папа.

— Брось, говорю, кручиниться. Давай вот.

Они дали.

Прожевав селедку с луком и хлеб, Загуляев сказал:

— Я, ты знаешь, Леонид, во многом не разделяю... Нет, ты постой! Пахан тоже дров немало наломал, так что дружба дружкой, но Никита где-то прав... Да погоди ты! Я ж с тобой согласен! По большому счету.

— Ты согласен?

— Еще бы! Не имели венгры права Пахана мордой в грязь.

— Не имели, — кивнул папа.

— *Наш* он Пахан — несмотря на все дела. Мы с его именем на устах умирали. Так?

— Было дело.

— И мадярам, мать их-х-х... вломим мы хотя бы за память о том, что это его имя хрипели мы, умирая, — а, Леонид?

— Хорошо говоришь, — папа взял бутылку.

— Хули, терпеть, что ли, будем?

— Не забывайся, Загуляев, — подала голос его жена. — Дети в пределах слышимости.

А мама — заметил Александр — под столом нашла кончиком туфли подошву папиного сапога, который, как обычно, намек на понял и удивленно посмотрел на маму:

— Ты чего?

Все на маму посмотрели, и она вспыхнула, и, опустив глаза в тарелку, сказала зло и сильно:

— Н-ничего!

— Вломить мы им, конечно, вломим, — заговорил папа, игнорируя сложные чувства визави — но, — и брови свел, — сейчас не Сорок Пятый. Это тогда мы их могли нейтрализовать по Ла-Манш, а сейчас, брат, исторический момент упущен. А ну как НАТО ввяжется? А там и Эйзенхауэр? Тогда что?

— Известно что, — ответил Загуляев... — Война, брат.

— Вот то-то и оно.

И папа козырьком ладонь ко лбу приставил — закручинился.

— Ты это, Ленька, брось, — приобнял его Загуляев. — *Броня крепка, и танки наши быстры...* или не так?

— Быстрее, чем тогда.

— Ну, а со своей стороны могу тебя заверить, что... как там? В каждом пропеллере дышет... Вернее, в сопле реактивном. По единой? За спокойствие наших границ!

Они выпили, и папа протянул руку:

— Подойди-ка.

— Облик не теряй, Леонид, — сказала ему мама.

Папа нетерпеливо пошевелил пальцам. — Подойди, говорю. Так наглядно на памяти Александра папа еще не терял свой облик, поэтому приближался он с опаской. Но папа обнял его, поцеловал в лоб, приятно больно уколов усами, а потом отстранил и, плечи сжимая, предъявил Александра командиру эскадрильи:

— Видишь? Во второй класс уже пошел. Не себя... что *мы*? Нас этому учили — умирать. И если живы мы остались после мясорубки той, кой-чему, значит, в этом деле научились. Но их вот, незапятнанных, — и он тряхнул Александра так, что зубы лязгнули, — их — жалко. Иди, сынок, играй. И ничего не бойся, понял? Пока мы живы — я и дядя Слава — ты можешь ничего не бояться.

— Отпусти ребенка, Леонид, — сказала мама.

Папа прижал его к себе, царапая орденскими планками, и оттолкнул, отворачиваясь, утирая кулаком слезу.

— Кто ж спорит? — согласился Загуляев. — Мне, брат, еще больше жалко: он у тебя один, и то усыновленный, а у меня их кровных две. Если не вернусь, с чем их оставляю в этой жизни?.. О! — хлопнул он себя по лбу. — Я ж газету с таблицей купил!

И рванул из-за стола так, что уронил стул.

Жена его вздохнула.

— Совсем поехал мой летун. Знаете, что он сделал? Когда, значит, еще только первые слухи из Венгрии пошли, он снял все деньги со сберкнижки и — на все, ни рубля не оставил! — накупил лотерейных билетов. «Ва-банк, — говорит, — иду».

Поясняя состояние командира эскадрильи истребителей, она приставила указательный палец к виску и покрутила с насмешливым видом.

— Это ты по-нашему!.. — Папа сделал попытку броситься навстречу Загуляеву, который внес свою кожаную куртку. — Люблю!

— Погоди, друг... Что там у нас в стаканах, ноливо ли? Э, да мы похоже, все добились.

— И слава Богу, — сказала его жена.

— Нет, — сказал Загуляев, — нет, не Богу, а Случаю молись. А ты, Леня, в отчаяние не впадай: в моем доме последняя, она всегда была *предпоследней*... Ангелята? Вы куда попрятались? Тащите папке бутылку! Сейчас вам папка приданое будет выигрывать. Обоим по «Победе», как? Устраивает?

Перемигиваясь в предвкушении шутки, которая должна была

насмешить офицеров до колик, ангелята принесли бутылку, на которой красовался черно-зеленый ярлык: «Московская особая». А папа ангелят тем временем раздвинул тарелки, разложил центральную газету с выигрышной таблицей, после чего отвалился вместе со стулом, выдвинул ящик комода и стал доставать одну за другой запечатанные пачки билетов всесоюзной денежно-вещевой лотереи осени Пятьдесят Шестого года. Накидав перед собою пачек, он затолкнул ящик и вернулся, крепко стукнувшись об пол подошвами и передними ножками стула. Обтер ладонями обритую наголо голову, сияющую в свете лампочки, обвел всех отчаянным взглядом — и распечатал бутылку. Сначала папе набулькала. Себе... До краев.

Они подняли стаканы.

— Фарту тебе, Слава! — пожелал папа.

— Не мне, — поправил Загуляев, — девчонкам моим. Старшей «Победу», младшенькой «Москвич». С таким приданым кто от них откажется?

— А их и без приданого возьмут, — сказала его жена. — Как, Александр? Давай, любую на выбор!

Девочки, прыснув, убежали, Александр стал медленно наливать кровью стыда, а Загуляев посмотрел на папу.

— Что, друг Ленья, может, и вправду, придется нам породниться? Ну, пошел!

Они выпили залпом, и обращенные вовнутрь глаза летчика сделались недоверчивыми.

— Выдохлась, что ли? Крепости не ощутил.

— Мудрено ли? — сказала жена. — После четвертой поллитры.

— Крепость нормальная, — сказал папа. — Я объясню тебе, в чем дело...

— Ну?

— Азарт.

— Азарт, говоришь? Что ж, отрицать не стану. Такой я! — и он с треском распечатал первую пачку.

Поводив указательным пальцем по цифири столбиков таблицы, поднял глаза и весело сказал:

— Промашка вышла! Ничего, «Победа» в следующей.

— Чья? — спросила младшая.

— Не твоя же, — ответила старшая.

— Ах, не моя... *Сказать?*

— Ладно, твоя. Подавись.

— Папа, ты слышал? Сама сказала.

— Ладно вам, ангелята. — Он отбросил вторую пачку, она разлетелась. — Шкуру неубитого медведя делить... Ну-ка, а в этой? — и разорвал полоску на третьей.

«Победы» не было и в ней.

С окоченевшей на лице маской одобрения гусарству друга папа Александра курил папиросу, а мама с тревогой поглядывала на жену летчика, с которой пачка за пачкой сползало безразличие. А летчик садил «Беломор» так яростно, словно поддерживал вокруг себя дымовую завесу.

— Все ведь снял, — сказала его жена. — Все, что с самой Кореи сбережено было. Рубль только один оставил, чтобы счет не закрыть. И что теперь мне делать? Завтра он уйдет, а у меня до конца месяца дотянуть не будет на что.

— Я тебе займу. — Мама обняла ее. — Будем теперь держаться друг дружки.

— Твой-то когда уходит?

Александр внутренне одобрил маму, даже подруге не разгласившей военную тайну:

— А я знаю? Баул его тревожный у порога, а когда ее, тревогу, объявят — мы разве знаем? Мы — люди маленькие. Пепел стряхни, Леонид, — возвысила она голос в сторону папы, но тот не услышал, ибо не только утратил облик, но и оглох. Мама вынула из его пальцев забыто дымящую папиросу, которую задавила в его же тарелке, полной окурков. Осязание папа тоже потерял. Но самое постыдное было, что он даже не сознавал всю неуместность омертвевшей на его лице улыбки одобрения летчику, разорившему семью. Рассыпаясь веером, пачки уже нарастили целую гору, но никакой «Победы», которая должна была возникнуть от совпадения номеров на пачке и в газете, еще не возникло. Пальцы летчика медленно затушили окурочек. Продув в дыму тоннель, он проявился и сказал:

— Последняя.

Повел пальцем, после чего смял газету, разорвал и отбросил. Девочки заплакали.

Загуляев завел руку за спинку стула, расстегнул свисавшую кобуру, сдавленно сказал:

— Простите, ангелята! — и извлек «Макарова».

— Не ломай комедию, — сказала его жена.

— Это не комедия, Зина, — возразил он, сдвигая большим пальцем предохранитель. — Трагедия это.

Папа вздрогнул и очнулся. А очнувшись, осудил:

— Не при детях, Святослав!

Долго и неподвижно смотрел на него летчик, и потом его палец щелчком вернул предохранитель в безопасное положение. Он застегнул, а потом вдруг запрокинул шар своей головы и — р-раз! — ударился лбом о край стола, вскричал, вскочил, сощелкнул шпингалеты, распахнул окно и стал швырять на дождь, во мглу, свои билеты. Пригоршнями. Он выбросил их все, а вслед им и комочек газеты, схватил бутылку и, работая кадыком, опустошил до дна.

Размахнулся — и туда же, в окно! От выпитой воды водопроводной его оттащило от подоконника, он схватился за скатерть — и в грохоте и звоне грохнулся об пол так, что лампочка мигнула.

Все вскочили, кроме папы, который все так же осуждающе передергивал головой.

Загуляев приподнялся на локте.

— А если не при детях? Имею право?

— Имеет право всякий, — ответил папа. — Но не мы.

— Не мы?

— Присягу помнишь? До последней капли крови она не нам принадлежит.

— Кому? — потребовал Загуляев.

С какой-то обреченной гордостью, вкладывая в ответ всю силу, папа повторил:

— Не нам. Осмыслил, Слава?

Смысл возник в глазах командира эскадрильи истребителей.

— Ну, и х-хер тогда с ней!

Он отпал, пошумел затылком в осколках, а потом смысл потух, и он закрыл глаза от света лампочки.

— Теперь ты поняла, почему я сервис свой китайский не выставила? — Жена летчика поднялась. — Что ж, будем укладывать наших защитничков...

И стала стаскивать с распростертого тела хромовые сапоги.

Папа за убийством собеседника показал пальцем на Александра.

— Взять, к примеру, камикадзе...

— Пойдем! — поднялась мама. — Пора и честь знать.

— Пойдем, — согласился папа.

Но не смог встать со стула.

— Пусть посидит, — сказала жена Загуляева. — Давай сначала этого.

Вместе с мамой они взяли за тело.

— Чугунный...

— Ничего, — ответила мама. — Я их в сорок первом знаешь сколько перетаскала? А раненые еще хуже. Его тащишь, а он ведь так и норовит... — Они взвалили тело на раскладушку. — Агонизирует, а туда же!

— Мужик, он и есть мужик, — согласилась жена летчика. — Ну, теперь твоего.

Под дождем они тащили папу через двор. Иногда папа забывал переставлять ноги, и они, в сапогах, рыли грязь.

— А главное, — повторял папа, — ну, все сознаю! Война, так война... Не впервой! Верно я говорю?

Следом Александр, укрыв за пазухой, нес его фуражку.

*

Затемно он разбудил Александра. К нему вернулась способность ходить. И он ушел — поцеловав. Наводить порядок в Венгрии. Когда Александр в восьмом часу утра с ранцем за плечами вышел во двор, земля была вся облеплена лотерейными билетами Загуляева, затоптанными в грязь и мокнувшими в лужах.

По длинной Скидельской улице, лязгая гусеницами по булыжнику, урча и воняя, на Запад шли танки. Не видно было, откуда они начинались и где кончались — сплошной рычащий поток. Колонна шла медленно, так что Александр обгонял один танк за другим, и так, пока не перешел дрожащий мост, где свернул налево, оставив рык брони за спиной, и постепенно мир снова озвучился, и дождь стал слышен — на кленовых листьях вдоль дороги, на старых каменных плитах и на канализационных крышках, на которых были вычеканены латинские буквы старого польского названия этого городка у наших новых западных границ.

КРУГ ЧТЕНИЯ

С книжкой и фонариком он отворял крышку, переступал в огромный, «колонизальным» называемый чемодан, — и затворялся.

Он много читал, Александр. Он — глотал. Он был книгоцеем этой рекомендованной и утвержденной где-то Министерством просвещения литературы для младшего и среднего школьного возраста. Читая, он грезил. Книги были наполнены его сверстниками — мальчиками-мучениками, отроками-героями. Отождествляясь с ними, читатель Александр кричал во сне: «За Родину! Вперед!..»

Перед тем как заснуть, — а он долго не засыпал, давая основания подозревать себя в глестах и рукоблудии, — Александр совершал все им прочитанные подвиги. Борясь с ненавистным ему царским самодержавием, он в декабре 1905 расклеивал прокламации. Он выбивал глаза жандармам — из рогатки, камнем, через разбитое чердачное окно. Забрасывал живых кошек на чердаки богатым — чтоб хоть не съели, так перепортили висящие там окороки и колбасы. И бил сынков их, вываливая, чистеньких, в грязь. Стрелял из нагана, оброненного павшим рядом отцом-пролетарием, а после, отстрелявшись, с гордо поднятой головой принимал мученическую смерть под копытами казачьих лошадей: «Умираю, но верю: наше солнце взойдет!..»

Еще больше подвигов совершал он, Александр, во время Великой Октябрьской социалистической революции 1917-го года и, конечно, в вытекающую из нее Гражданскую войну. В одиночку он разрывал петлю на горле молодой советской республики, которую душили разом все Четырнадцать иностранных держав, не считая беляков. Но и доставались ему, одиночке, за это все муки вместе. Его запарывали насмерть плетью и шомполами. Расстреливали. Вешали. Рубили на куски. Топили. Жгли. В глотку Александра, орущую: «Да здравствует Коммунизм!», вливали жидкий свинец, а потом, головой вперед, заталкивали в паровозную топку, как японцы Сергея Лазо, втолкав предварительно в рот его собственный — шашкой отрубленный — член, как в романе «Чапаев». Но он, Александр, — воскресал и, разгромив Антанту, сбросив Врангеля в Черное море, а японцев — в Великий или Тихий океан, начинал погибать уже под злодейскими пулями кулацких обрезов, борясь за Коллективизацию, не щадил ни деда, ни дядю, ни отца, прятавших зерно от голодающих Поволжья, и об руку с чекистами Дзержинского уничтожал не только их, но и всю контру сразу — опять-таки умирая от предательского удара в спину лишь для того, чтобы воскреснуть на постаменте алебастровым памятником Павлику Морозову, безмолвно салю-

тующего от имени пионеров-ленинцев самой Вечности. А отсалютовав, он, Александр, вновь перевоплощался — уж белофинны к нам ползли в масхалатах белых, а там уже — по плану «Барбаросса» — вторгались полчища гитлеровцев. Тут воспаленное воображение Александра, любящего книгу-источник знаний, размножало его на сотни мальчиков, геройствующих на фронтах, в своем тылу, а также вражьем, и так, что — дураку ясно — не будь их, этих мальчиков разрозненных, но как Один принявших смерть с гордо поднятой под петлей головой, Красной Армии никогда бы не разгромить фашистскую гадину в ее собственном логове. Не будь *его*, Александра!

А кто, скажите на милость, с парашютом заброшенный к немцам в тыл, обливал бензином угол склада с боеприпасами, а потом, с отрезанными девичьими грудями, белокурую головку продевал в мерзлую петлю?

Я.

Кто, зарывшись от немцев в стог сена, не издавал ни звука, когда в плоть его вонзался ищущий вслепую немецкий штык? Кто бросал гранаты из засады, строчил из всех видов трофейного автоматического оружия, минировал железные дороги и столовые немецких летчиков, закрывал грудью амбразуру из пулеметного ДЗОТа, бросался, обвязанный связкой гранат, под «Тигра» и направлял горящий краснотрехзвездный «ястребок» на вражескую автоколонну?

Я, я, я...

«Вперед! За Сталина, за Родину!» — хриплым голосом комбата орал во сне Александр.

На воспаленный лоб ложилась мамина рука.

Рука отдергивалась.

Он полыхал.

39 и 9.

...О блаженство болезни! Не отвлекаясь на прозу мирных буден советского народа, можно бить врага, и погибать, и воскресать с утра до ночи напролет. Он грезил читая, а засыпая бредил, но выздоравливая и выходя во двор подобен был искрящемуся бикфордову шнуру. Спеша навстречу долгожданному взрыву, извилинами мозга бежала искра.

Но где же враг? Где собственность врага?

О победившая моя страна, какая смертная тоска — ведь все твои враги капитулировали. Безоговорочно и окончательно... О серые будни мира... Нет, динамиту мне! Тринитротолуолу. А нет, так на худой конец сойдет и спичечная сера, их, спички, нужно обдирать об острые края стреляных гильз, подобранных на опустевшем стрельбище, и, терпеливо начиняя... Но где же, где же этот враг?

Как о друге лучшем, мечталось о нем Александру.

Он хотел быть взятым контуженным в плен. Хотел быть

угнанным в нацистскую Германию. В Освенцим, в Бухенвальд. Но она, Германия, была уже разгромленной и даже наполовину бра-тской... Где вы, нах Остен рвущиеся высокомоторизованные армии Фюрера, солдаты группы «Центр» и головорезы из дивизии СС «Мертвая голова»? Завывая по-волчьи, дует ветер над заснеженными местами былых батальей, оплакивая мерзлые кости врага над разобранными на дрова березовыми крестами.

Он опоздал родиться, Александр. Он опоздал сразиться. Геройски жизнь свою пролить, до последней капли крови напитать эту землю — за счастье и процветание великой нашей Родины, за эту скуку вот.

Копошились где-то на окраинах сознания шпионы с диверсантами, но это — увы — всего лишь ложка меда в огромной бочке дегтя: мира...

Он бредил войной, как недобитый реваншист из ФРГ с карикатуры в журнале «Крокодил».

Великой Отечественной бредил — через три года после победоносного завершения которой его вытолкнули в этот мир, чтобы так и жил, тоскуя об упущенной возможности геройски пасть. Поет радио, и на глаза невольно наворачиваются слезы горькой обиды, а кулаки сжимаются невольно:

*Орленок, орленок! Взлети выше солнца
И степи с высот огляди:
Навеки умолкли веселые хлопцы,
В живых я остался — один...*

*

Его мама снимает за порогом туфли и в чулках подкрадывается к «колониальному» чемодану. Раз — и отворяет крышку:

— Ты что это здесь делаешь?

А он всего-навсего, светя себе фонариком, читает взятую в школьной библиотеке книжку «Никогда не забудем!» — о глумлениях и зверствах немецко-фашистских оккупантов над детьми среднего и младшего школьного возраста.

ОБРАЗ ВРАГА

Утром по пути в школу он вынул из почтового ящика «Правду». Развернул и похолодел.

Сырой, серо-черный снимок. Труп коммуниста. Из взрезанного живота, обливаясь кровью, текут книжечки. Партбилеты. Коммуниста замучали венгры. Они вспороли ему живот, выпустили кишки и натолкали партбилетов. Только что съеденный завтрак комом подкатил к горлу. Он вылетел под дождь, завернул за угол и согнулся под водостоком. Вытошнив, он утерся газетой и, оглянувшись по сторонам, затолкал ее поглубже в жестяную трубу.

«Красная Звезда» приходила позже — к обеду.

— У меня такое впечатление, что у нас крадут газеты из ящика. — Мама уютно села к столу с только что вынутой «Красной Звездой». — Ну, как он там, в Будапеште?..

Развернув газету, она ахнула и схватилась под левую грудь.

— Что с тобой? — вскочил он.

— Ничего... — Махнула рукой. — Ешь давай.

— Больше не хочу.

— Это что еще за новости? А ну — через не хочу! И хлеб чтоб доел: вся сила в остатке!

Газету она от Александра спрятала, и он понял, что «Красная Звезда» напечатала тот же снимок.

Вечером они пошли в кино — на «Серенаду солнечной долины». Но этот фильм, как американский, отменили, а зрителям показали новый мосфильмовский — «Без вести пропавший». Про партизанскую войну в тылу врага. Когда они вернулись, мама вдруг зарыдала перед дверью.

— Ключ забыла, — выговорила она. Замок у них был английский, то есть самозакрывающийся. Мама стояла, упервшись лбом в дверь, и горько плакала. Потом она вытерла слезы, — Придется ломать. Главное, обратиться даже не к кому...

Все офицеры из подъезда были в Венгрии.

— Самим придется.

— А чем?

— Топором, чем же...

В подвале жила самовольно вселившаяся нищенка-алкоголичка с тремя детьми. У нее нашелся топор. Мама стала взламывать дверь их квартиры, а когда взломала, оглянувшись на запертые двери соседей:

— Вот ведь люди... Никто и не высунулся! Убивать будут, никто на помощь не придет.

На ночь они забаррикадировались изнутри, а утром мама по телефону вызвала столяра — чинить дверь. Столяра пообещали прислать до обеда, но когда Александр вернулся из школы, дверь попрежнему стояла раскученная, а за ней, на табурете, мама сидела вся одетая, с вуалью на лице, и ломала руки.

— Наконец-то! — вскочила она. — Ты уж тут покарауль, ладно? А мне надо бежать.

— Куда?

— «Куда, куда!» — рассердилась мама. — Да уж не на свиданье. Смотри, не спускай глаз с двери. Суп еще теплый, а остыл — разогрей. Пока!

Суп он разогреть не стал. Вымыл большое и тяжелое антоновское яблоко, вытер, надкусил и пошел к шкафу. Он положил яблоко на пол, а из шкафа достал винтовку. Это был трофейный «Маузер», 4, 65. Наиболее эффективное оружие в квартирном бою — легкое, многозарядное, скорострельное. Он осторожно положил винтовку на пол. Придвинул стул и с верхней полки шкафа достал маленькую, но увесистую коробочку патронов. Он сунул патроны в карман, подобрал винтовку, яблоко и вышел.

Вести наблюдение за входной дверью лучше всего было из его комнаты — детской.

Дверь детской была двустворчатой и остекленной — на три четверти. Правую створку он накрепко заблокировал, вогнав штырь задвижки в пол, а левую — приоткрыл. Бросил к порогу одеяло, подушку — улегся. Еще откусил от яблока, уже подернувшегося бежевым налетом окисла, — так много в нем железа, — и взялся за винтовку. Вынул из нее вороненый, хорошо смазанный магазин, один за другим вдавил в него пять патронов. Потом взял шестой, отомкнул затвор и вставил патрон в ствол. Взвел затвор. После чего загнал обойму — с щелчком. И поставил винтовку на предохранитель. Укрыл ее, готовую к бою, краем одеяла и, облокотясь, стал беспечно доедать яблоко.

Дверь квартиры мог открыть кто угодно, теперь это уже не имело значения: пять в обойме, шестой в стволе...

На лестнице раздались шаги незнакомца. Он замер, а потом отложил огрызок на пол.

От стука входная дверь приоткрылась.

— Дома-то кто йо? — зычно спросили извне.

Под одеялом рука Александра перевела «Маузер» в положение *Feuer*, после чего он ответил:

— Есть.

Дверь распахнулась, вошел мужик. Он прикрыл за собой дверь и повернулся. В руке у него был деревянный ящик, откуда (Александр сглотнул) торчала вверх рукоять топора.

— Кто йо-то?

— Я, — подал голос с пола Александр.

Мужик увидел его и оскалил серые металлические зубы.

— «Я»... Тебе что гроши оставили? Батька где твой?

— На работе, — соврал Александр.

— А matka?

— А мама, — сказал он, — сейчас вернется.

— Обождем тады. — Мужик сел на табурет, выставленный мамой в коридор, сбросил прямо на пол шапку, расстегнул овчинный полушубок и, озираясь, стал сворачивать на колене самокрутку. Насыпал махорки в обрывок газеты, лизнул, склеил. Чиркнул спичкой и окутался вонючим дымом.

— Чего на земле-то лежишь? Что чужой войдет боишься?

— Ничего я не боюсь! — сказал Александр. — Так, читаю.

И он показал мужику обложку толстой книги — «Война невидимок», Николай Шпанов.

— Читает, ишь... Батька военный, небось?

— Это же ДОС. Тут у нас все военные.

— В чинах али так, лейтенант?

— Майор.

— Вот оно как. Гроши, небось, гребет лопатой?

Александр сжал винтовку.

— Оклад-то, говорю, большой у его? — Не дождавшись ответа, мужик ответил себе сам: — Да уж, ить, не малый! Тышонки три, а то и все пять... — Он наклонился, извлек из ящика топор.

Александр перекатился за угол. Винтовка была еще накрыта, но палец уже лежал на спусковом крючке.

Сапоги мужика зажали топор, а он достал из своего ящика бутылку с мутным картофельным самогоном, вытащил зубами газетный жгут затычки, взболтнул, запрокинул бутылку и надолго присосался, подмигивая при этом вниз Александру.

— А как же? Защитнички, — заговорил он, отсосавшись... — Сперва от Гитлера нас спасли, теперь вон от Имря Надя спасают, а там, глядишь, спасут и от Слуг Народа. А? Вот я и говорю: пускай им плотят. Слугам Народа, тем урезать надо. Тут Микита прав. Но Червону Армию нашу ты не трожь! Не жнет она, не сеет, и на горбу сидит у нас, но дело свое Червона Армия туго знает. Ать-два! Режь-коли!

Мужик выпил еще и поднялся.

Александр откинул край одеяла и вскинулся с колена.

— А ну стой! — крикнул он. — Ни с места!

Мужик засмеялся.

— Руки вверх!

Если эта глыба вот сейчас, немедленно не подчинится, палец выстрелит.

Мужик поднял руки — темные и огромные.

— Да я ж водички, — сказал он, — испить...

Александр принагнул ствол.

— Садись!

Не опуская рук, мужик сел.

— В лоб-то хоть не цель!.. — взмолился.

Мушка сползла ему на сердце.

— Ф-фу! Ты что, боишься, что ли?

— Разговорчики! — прикрикнул Александр. Руки у него стали дрожать.

— Покурить-то дозволишь? Оно, ить, даже перед казнью дозволяют.

— Кури.

Над ним горела лампочка, отсвечивая на лысине. Покручивая головой и вздыхая, мужик свернул «козью ножку». Нагнулся в сторону топора...

— Стреляю! — крикнул Александр, поджимая спуск к задержке хода, за которой выстрел.

Мужик топор не взял. Взял спичечный коробок из своего ящика. Раскурил, бросил обратно.

— А возьми я топор, убил бы? Эх, — вдохнул мужик. — Знать не можешь доли своей — верно поют. С утра вот намахался, получил гроши, захмелился малость. Ну? Мне бы к бабке своей, а я дай, думаю, забегу по вызову. Забежал вот! ядри твою палку. Кто ж тебя, голубь, напужал так?

— Разговорчики!

— Во даст! — поразился мужик. — Ладно тады. Помолчим.

Они молчали.

— Это... Глотнуть могу?

— Глотни.

Не спуская глаз с черной дырки, мужик опустил руку и поднял бутылку.

— Только бы ты это: опустил бы? Ты и не захочешь, а оно и пальни. Что тогда? Сейчас-то не поймешь, а потом... Всю ведь жизнь казнить будешь, сердешный, что деда старого по малолетству порешил. Я-то что? Свое я так и так прожил. А вот тебя мне жалко.

Дырка подмигивала ему.

— Ну ладно... — Мужик взболтал самогон. — Пил я тебя с братьями, пил с друзьями хорошими. Приходилось и в одиночку. Ну, а сейчас с Тобой, Костлявая, выпью!

На этот раз он выпил все до дна, запрокидывая голову все выше и взявшись для упора левой ладонью за шею. Но не удержался и упал с табурета. Поставил аккуратно бутылку у стеночки, придвинул шапку.

— Ну, как ты там, дите? А я того — сморился. Посплю я.

Сонного-то не застрелишь? Ну, а застрелишь, Бог с тобой! Ныне отпускаеши...

Подложил под щеку локоть и закрыл глаза.

С облегчением Александр закинул на плечо винтовку и прокрался мимо спящего в уборную. Пописав, он стряхнул последнюю каплю, застегнулся и вдруг услышал истошный мамин крик:

— Человека убили! Человека убили! Да придите же хоть кто-нибудь!..

Он вышел. Взвел глаза.

Она взялась под левую грудь, показывая вниз.

— Так это ты его?..

— Да живой я, бисовы дети! — отозвался с пола мужик. — Дайте доспать.

И накрылся воротом овчины.

ГЕНЕРАЛ КАВАЛЕРИИ

— Салават приехал! Салават приехал! — завизжала в прихожей Иля.

Александр поспешно закрыл и спрятал под себя учебник акушерства, жуткими картинками из которого воспользовалась для наглядности Иля, объясняя ему, что это такое «аборт», на который легла его мама — в то время как Гусаров отсутствовал на зимних учениях. И так он, Александр, чувствовал себя неловко в чужом доме, а тут еще и брат Или. Который учится в самой Москве. И не где-нибудь — в МГУ, который Сталин нашей молодежи в наследство оставил на Ленинских горах.

— Ну, погоди, сестренка, погоди! — прекратил телячьи нежности студент. — Я так задубел от вокзала идючи, что ничего не воспринимаю... Дай согреться.

Стукнул об пол портфель, и студент заглянул в гостиную. Все на нем искрилось от снега — и лисья меховая шапка, и ворсистое верблюжье пальто с широкими округлыми плечами. Ухватившись за кушак, он отступил в прихожую и спросил:

— А где же предки?

— Папа воздухом пошел дышать, а мама на рынок. Все баранину к твоему приезду ищет. Для плова.

— Неужели плов будет?

— Конечно, будет! Только со свиной, я так думаю.

— Да хоть с чем! Сто лет не едал!

Потирая руки, студент вошел в гостиную, и Александр приоткрыл рот. На брате Или был оранжевый пиджак, такой длинный, что почти до колен. Узкие брючки с широкими отворотами. А ботинки! Огромные, как утюги, и на толстенных подошвах. А под пиджаком, который студент МГУ неторопливо расстегнул, обнажился огромный галстук. Пестрый такой. С обезьяной. А точнее говоря — с орангутангом. Который ухмылялся... Девять лет уже прожил на этом свете Александр, но ничего подобного, одежды такой, не то, что не видел, но и вообразить себе не мог.

— Это еще кто? — вдруг в бешенстве внезапно закричал студент.

— Одноклассник мой, — оробела Иля. — У нас сейчас живет.

Он привстал с учебника акушерства:

— А — лександр.

— Хэллоу, май бой! — давнул ему руку студент. — Я имею в виду, почему у вас *этот* висит?

Александр оглянулся от стола. За ним, в пробелке между

пятнами окон, заиндевело-солнечно светящими сквозь тюль, висел портрет Сталина. В серебрянной рамке. Исполненный мягким карандашом, Вождь был очень красив в своем белом мундире со звездами на погонах.

— Висит... — Иля озадаченно подняла брови, отчего на лбу ее еще заметней проступили следы от оспинок. — Он всегда ведь здесь висел. Или ты забыл?

— Палач усатый!

— Как это «палач»? — опешил Александр.

— А так!

Александр с Илей переглянулись.

— Сколько он людей невинных погубил, знаете? Миллионы! До вас тут что, еще не дошло?

— Н-нет.

— И в школе вам ничего не говорили?

— Не говорили.

— Ничего, еще скажут. — Студент поднял руки и отцепил портрет. — Все, товарищ, Сосо! Кончилось ваше время!..

Он посмотрел туда-сюда, куда бы его деть, а потом вышел из комнаты. Прямоугольник свежей пустоты показывал, как сильно выцвели обои в гостиной. Александр взглянул на Илю, которая в ответ пожала плечами — в том смысле, что брату, как студенту МГУ, видней. На кухне лязгнуло накрытое портретом мусорное ведро, и студент вернулся — с хмурым лицом. А обезьяна с его галстука ухмылялась.

— Салават? — сказала Иля.

— Ну.

— Наверное, ты проголодался с дороги. Хочешь, чайку? У нас даже зеленый есть.

— Хочу рюмку водки. — Салават сел за пианино и сорвал с крышки длинную салфетку. — Рюмку водки и хвост селедки, моя заботливая сестренка!

Студент по-мальчишески крутанулся на винте табурета.

— А ты, стало быть, с Илькой в одной школе?

— Угу.

— Это хорошо.

— И даже в одном классе.

— Да ну? — Он развернулся к Александру оранжевой своей спиной, открыл пианино, поднял руки и зашевелил в воздухе пальцами. — Это просто замечательно...

Александр кашлянул, после чего задал вопрос.

— А в Москве, там тоже так холодно?

— В Москве-то? Нет, в Москве оно гораздо холодней. В Москве, май бой, мороз просто ошеломляющий...

И он взбурлил тишину нисходящей гаммой.

— Такой, — добавил он, — что яйца в штанах звенят, а воробьи, те вообще на лету замерзают.

Александр принужденно усмехнулся.

— А вообще она какая, — спросил он, — Москва?

— Город контрастов! — отрезал студент надежду на серьезный разговор.

Семеня, Иля внесла поднос с бутылкой коньяка, рюмкой и блюдецком с нарезанным лимоном, поставила на стол.

— Сестреночка, люблю!

Старший брат подтащил ее к себе и чмокнул в затылок, в пробор между туго заплетенными косичками. Иля при этом потупилась от удовольствия — невзрачная, круглолицая девочка. Никогда не думал Александр, что судьба заставит их сойтись, тем более, что был он влюблен в двух других одноклассниц — в брюнетку Таню Пустовалову с ореховыми глазами и подвижным ярким ртом, а еще в Нину Лозинскую, блондинку с незабудковым взглядом. Но, увы, их мамы — Александра и Или — сдружились, как члены родительского комитета класса.

— Лейдиз энд джентльмен, ваше здоровье! — Салават свел глаза на рюмку, опрокинул ее, бросил в рот лимон — зажмурился. Вытащил изо рта колечко корки и открыл свои черные глаза. — Интересуешься, значит, столицей своей Родины? И правильно! Вот кончишь школу и поступай в МГУ — мой тебе совет. Только в Москве должно жить джентльмену. Нашему советскому, естественно. Что есть джентльмен, знаешь?

Когда Александр знал даже что есть «эсквайр»...

— Благородный человек.

— Именно так! При всех ее контрастах Москва, мой юный друг, это целое государство. Высокоцивилизованное небольшое государство внутри огромного, но недоразвитого. Государство Будущего! Я уже здоровый долдон был, но все равно, поступив в МГУ, как скачок во времени совершил. И сюда уже возвращаюсь, как в патриархальное прошлое. Как в детство обратно выпадаю... Ладно, дети мои! С вашего молчаливого одобрения я, пожалуй, еще рюмашку. А то после вчерашнего у меня мозги еще набекрень. Мы так вчера с ребятами дали, по случаю благополучной сдачи сессии, что я, представьте себе, ничего не помню! Ни как в поезд усадили, ни как на полку взвалили.

— На верхнюю?

Салават выпил рюмку.

— На нес. Хорошо на верхней полке, у открытого окна! — пропел он. — Окно, правда, было задраено наглухо и заморожено вдобавок. Хотите, дети мои, я вам буги-вуги сделаю? •

— А что это? — спросила Иля.

Вместо ответа Салават заиграл так, что в серванте зазвенел трофейный мейсенский хрусталь, а маятник в часах, красивых, как гроб, поставленный на попа, остановился. При этом Салават поднимал плечи своего оранжевого пиджака, тряс набриолиненной черной головой и оглядывался от клавиш, подмигивая и сверкая глазами. А потом и запел:

*Не ходите, дети, в школу,
пейте, дети, кока-колу!
Не ругайтесь, дети, матом,
а танцуйте буги-атом!..*

Дети засмеялись.

— Нравятся буги-вуги? — закричал Салават. — Если нальете таперу, он вам еще не то сделает!..

Но сделать обещанное он не успел, потому что из двери раздалось:

— Салават! — и он отдернул руки от клавиш.

Вошел Генерал.

На нем была дымчато-серого каракуля папаха, черная кавалерийская бурка и сапоги со шпорами. Местное население, скорее, пугалось его вида, хотя жена генерала, запирая за ним дверь, говорила: «Опять пошел людей смешить!» Папаха на нем была полковничья, потому что именно полковником вышел он в отставку. Но называть его, было сказано Александру, следует: генерал. Причем, не «товарищ», а просто. Иначе он мог рассердиться. Потому что, сказала Иля, Генерал наш впал в детство.

Скрипя паркетом, Генерал шагнул к Салавату, и тот опустил крышку пианино и поднялся.

— Батыр! — Генерал поднял руку и в виде ласки сильно дернул сына за волосы, растрепал ему набриолиненный кок, с удивлением понюхал свою ладонь и добавил: — Салават Юлаев!..

Повернулся и, расстегнув бурку, тяжело опустился на тахту, накрытую бухарским ковром, восходящим до самого потолка. Стукнул нетерпеливо каблуком:

— Илька!

Когда не было супруги, с виду уже бабушки, огромной, мягкой, пестрой, с лицом, увешанном бордовыми бородавками и неправильной русской речью, — сапоги ему снимала дочь. В это время Генерал обменивался с сыном короткими фразами по-башкирски, взявшись для упора за складку ковра своими руками — опухше-толстыми и покрытыми невеселыми веснушками. Так они говорили: вопрос —

ответ. Иля унесла сапоги в прихожую и вернулась с парой войлочных тапок, которые надела Генералу на ноги. Потом, сбросив свои тапки, она влезла на тахту и стащила с Генерала бурку. Выпрямилась на коленях и двумя руками сняла с него полковничью папаху, обнажив голову генерала — безволосую, стеариново-бледную, с буграми, вмятинами и без правого уха.

Это ухо Генералу отрубил нукер эмира Бухарского, сбежавшего в Афганистан. Еще в 20-х годах, когда Генерал был еще в такой могучей силе, что с одного удара шашкой разваливал человека пополам — до самого седла. Да! А голов нарубил я, сказал Александру Генерал, как Тимур. Гору! Род его войск давным-давно уже уступил место танкам, и в былую удасть генерала было трудно поверить. Тем более, что теперь Генерал бьет только мух. Во дворе у сараев ищет палочки, приносит их домой, расщепляет, вставляет кусочек кожи, потом, отбивая себе пальцы, сбивает гвоздиком — готова мухобойка! Их у него целый запас. А кожу для мухобоек генерал беспощадно вырезает из трофейных немецких кобур. Целый чемодан у него этих пленительных, лаково-черных кобур из-под парабеллумов. Прошлое лето было очень жарким, от дощатой помойки во дворе мухи развелись в несметном количестве, и генерал бил их целыми днями, подкрадываясь тихонько в одних белых подштанниках. Но попадал не часто, и каждый раз, промахиваясь, страшно ругался на своем языке и брызгал слюной. А когда попадал — издавал гортанный крик победы. Спасая Генерала, супруга его навешала всюду гирлянды липучек, они дочерна облипали, но то и дело раздавалось жужжание, так много их было, и Генерал вскакивал, и доускакивался: инфаркт его хватил. И он лежал в госпитале до самой зимы, а теперь только ему и остается, что разгуливать по Пяскуву в своей бурке, пахнувшей нафталином, и строго следить за тем, чтобы младшие по званию первые отдавали честь. И еще он раз в неделю любимые свои часы заводит — с маятником за стеклом. Вот и все его радости. Потому что зимой мух нет.

Закончив разговор с сыном, Генерал долго качал головой.

Потом он ее поднял и увидел Александра.

— Батыр! — сказал ему Генерал, кивая на сына. — Салават Юлаев!..

Иля прокричала ему в заросшую седым волосом дырку отрубленного уха, что по-башкирски Александр не знает.

— Урус? — сообразил Генерал.

Александр кивнул:

— Русский.

Генерал его по истечении дня забывал начисто.

— Сын! — Генерал показал пальцем на Салавата, который подмигнул при этом Александру. — Москва учится. Эмгэу! Большой

человек будет. О-о! Молотов будет.

Показывая, каким большим человеком будет Салават, Генерал взвел глаза, и вдруг они у него остекленели.

— Сталин... — Челюсть его отвалилась и поблескивала золотом вставных зубов. Он долго смотрел на простенок между окнами, где зиял прямоугольник пустоты с невытащенным гвоздем, а потом закричал: — Сталин где, Илька?!

Руки его стиснули складку ковра.

Салават сказал по-башкирски, и голова Генерала, как на шарнирах, повернулась.

— Ты?

— Я.

Генерал поднялся и, волоча ноги, ушел к себе в кабинет. И дверь закрыл, чтобы не слышать то, что вслед ему говорил Салават по-башкирски.

— Салаватик, повесь обратно! — Иля сложила ладони.

— Палача? — Салават вынул расческу, зачесал гладко свой кок. Потом он подтянул узел галстука, с которого скалилась обезьяна. — Если хочет, сам пусть вешает. Но тогда ноги моем в этом доме не будет.

— Салаватик, но он же...

Дверь кабинета распахнулась, и Генерал вернулся. С саблей в руках.

— Товарищ Фрунзе мне ее. Михаил Васильич. Собственно-ручно!.. — Он рванул саблю из ножен, и глаза его выпучились.

— Папочка! — обхватила его Иля.

Он убрал руку с эфеса, оторвал за косу от себя дочь и, отшвырнув на тахту, рванул саблю снова.

Салават шагнул к нему.

— Отец!

Генерал издал звук натуги, пукнул, и, сверкнув, сабля вылетела наружу.

— СТАЛИН?

— Йок, — качнул своим коком Салават.

Отбросив ножны, Генерал поймал его за галстук, взмахнул саблей, и на шее у Салавата остался один узел с обрезком. Генерал разжал кулак, посмотрел на конец с обезьяной, качнул головой:

— Эмгэу... Зар-р-рублю!!! — зарычал он, закатывая глаза.

Сабля со свистом рассекла свет солнца и запнулась над головой Салавата. Хрипя, Генерал левой рукой схватился за сердце, и сабля, — Салават успел отскочить, — вырвалась из ударной его руки и вонзилась в пол. Генерал повернулся и рухнул в объятия Или, подминая ее своей тяжестью.

Эфес с припаянным орденом Боевого Красного Знамени

раскачал саблю, и, выскочив из паркетины, она загремела об пол, а потом вдруг хрупко разломилась надвое под подошвой Салавата, который бросился в прихожую — к телефону.

И тогда вслед за Илей Александр зарыдал.

КЛАДБИЩЕ В ДРУСКЕНИНКАЙ

I

Вот уже десять лет, как Литва была освобождена, и Александра повезли туда, чтобы укрепить ему легкие после перенесенного коклюша.

Из лесу еще постреливали. Это были последние выстрелы. Утихающие. И самый последний — раскатистый, винтовочный — пришелся по ним.

Он прогремел, когда, уже по эту сторону границы, они, оставив «виллис» на пустынном рокадном шоссе, спустились к обрыву, чтобы полюбоваться видом на Чертову Яму — огромную пропасть, заросшую до горизонта непроходимым лесом, — куда, по преданию, некогда провалилось чем-то разгневавшее высшие силы славное царство-государство. Сумрачная грандиозность провального пейзажа так поразила Александра, что он с трудом держался на слабеющих ногах. Замер и оставался бездыханным, чтобы не привлечь внимания незримых затаившихся сил, которые вполне могли прибрать и их — вместе с папиным шофером по фамилии Медведь. А он, Медведь, тоже потрясенный, вдруг сорвал с себя пилотку, сдвинул в кулаке, замахнулся и загоготал: «Ого-го-о!..» — в том смысле, что нам, русакам, по одно место силы преисподней. И тогда в ответ прижужжала оттуда пуля — такая медленная... Потом, отставший, прикатился и звук выстрела, и вдруг Чертова Яма разразилась таким страшным хохотом, что все четверо бросились оземь.

— Ползком к машине, быстро! — скомандовал папа.

Вдвоем с шофером они прикрыли отступление мамы и Александра, а потом с обеих сторон впрыгнули в «виллис», который рванул с места так, что привстал на дыбы.

Километров пять летели они прочь — папа с обнаженным в сторону леса «Макаровым», Медведь — сжимая штык в зубах. Когда папа убрал пистолет, оставив, впрочем, кобуру расстегнутой, Медведь вынул изо рта штык, вслепую кинул в ножны и сбросил скорость.

Еще с километр проехали молча.

— Это, может, охотник? — предположила мама.

— В июне-то?.. Может, и охотник, не знаю. — Папа пожал плечами, отчего на миг отслоились погоны. — Им закон не писан: Литва!

— Разрешите обратиться, товарищ гвардии майор.

— Брось, Медведь! — сказал папа. — Формальности можешь отставить: мы теперь с тобой огнем крещеные.

— Я к тому, товарищ майор... То, може, *браток лесной*.

Папа выбил из пачки «Беломора» папиросу, сломил мундштук, обдал приятным дымом. Это был лучший в стране «Беломор» — питерской табачной фабрики имени Урицкого. Товарищ по академии прислал ему недавно.

— Те братья, Медведь, — ответил папа, — давно в могиле. В братской.

— То, може, не усе, товарищ майор. Яки, може, сховауся.

— Не исключено, — согласился папа добродушно. — Хотя, вряд ли. Это все-таки Европа, Медведь! Не наша тайга. В тайге-то еще можно скрыться, нырнул в нее — и поминай, как звали. Была б винтовка, добрый нож да опыт таежный — и хоть жизнь живи. Тут — нет... Куда? Сколько они тут партизанили, *братья*? Пять, ну семь от силы лет. А потом?

Молчали — с километр. Промеж разомкнутых плечей двух мужчин с заднего сиденья Александр наблюдал летящее навстречу шоссе.

— Папа, — спросил он, — а что такое *рокадное*?

— Интересуешься? — Оживившись, папа завел руку за спинку сиденья и потрепал ему волосы на затылке. — Идущее, значит, параллельно линии фронта. Не поперек, а вдоль. Уяснил?

— Так точно, — ответил Александр, чтобы сделать приятное папе.

Медведь сказал:

— В комендатуру, значит, заявлять не будем...

— А на кого? — удивился папа. — На браконьера? С браконьерами пусть гражданские власти разбираются. Не наше с тобой это дело, Медведь. Верно говорю?

— Так точно, товарищ майор: не наше. Только в другой раз пускай мне автомат выдают. Без него я в эту Литву не поеду.

— Автомат? — жестко спросил отец. — Зачем тебе?

— На всякий случай.

— Ты вот что, Медведь... Паники тут мне не разводи. Понял?

— Так точно, товарищ гвардии майор! Только я на ту весну демобилизуюсь. Так дослужить бы.

Мама вмешалась:

— А может быть, действительно, сообщить куда следует?

Шея над воротником полевой гимнастерки у папы побагровела, и твердые уши его напросвет заалелись.

— Шофер ты хороший, Медведь, — отрывисто бросил он, глядя перед собой. — Вот только солдат из тебя вряд ли получится.

А маме он ответил только в Друскенинкой (не при подчиненном):

— В свое время паникеров у нас — знаешь? К стенке ставили.

— А если он сам, через твою голову?

— Пусть стучит, — сказал папа, — раз так его гражданка научила. За три года не переучишь... А меня, Любовь, — меня война воспитала. И от случайной пули принципов своих менять не стану. — Подошел официант, и папа поднял голову. — Так. Что вы можете нам предложить?

— Есть свежий карп, товарищ гвардии майор.

— Несите. Только рыбка, она посуху не ходит... Ты будешь?

Мама покачала головой. — И тебе не советую.

— Тогда грамм триста монопольной.

— Вас понял, — и официант развернулся через правое плечо.

А на заре мужчины уехали обратно, оставив их, Любовь и Александра наедине с Литвой.

II

Друскенинкай, курортный городок на юге этой маленькой страны, стоял на правом берегу Немана, который здесь звался Немунас — и поэтому казался совсем иной рекой.

И все здесь, на взгляд Александра, было иным.

Взять это озеро, по окраинам которого, подминая листья кувшинок, вела Любовь взятую напрокат лодку, — оно, озеро, и в солнечное утро было непроглядно черным. Общими руками держась за борта, он мысленно мерил глубину и, воображением не доставая дна, пугался: дна у озера иной страны не было вовсе, а была какая-то темная подводная жизнь, прорастающая вглубь, как сказка, как кошмар, как ужас... Он принимал на ладонь желто-зеленую кувшинку, но от попытки выдернуть ее лодка виляла, а сопротивление невидимого стебля убегало куда-то к дремлющим драконам — сигналом тревоги. Трепеща, Александр выпускал кувшинку, и стебель утягивал ее по воде, возвращая на положенное место.

Мама с усилием гребла среди шуршащих, наползающих друг на друга листьев, выбираясь к той точке, откуда в прорыв черных елей на озеро взирал тремя своими башнями — тремя мечами островерхими — замок. Древний.

Потом она сложила весла. Она повернулась на сиденье, и, машинально потрагивая пальцами правой руки кольцо на левом безымянном, — с двумя оставшимися из трех бриллиантиками, — произнесла:

— Красиво как...

При этом мама привычно вздохнула. Все то к р а с и в о е, что предьявляла она в детстве Александру, всегда сопровождалось этим

вздохом кроткой скорби, будто бы с этой красотой они прощались навсегда.

Иным он был, этот черепично-красный и гранитно-сизый городок, врезанный среди вечнозеленой хвои и песков, оттого, что с окраин своих он плавно устремлялся ввысь — и там, с пика костела, крестил округу и небо над ней католическим строгим крестиком.

На улицах, чисто и далеко просматриваемых, привычной Александру суеты не было. Здесь не кричали, не ругались, не толкались, и даже в очередях за хлебом говорили вполголоса. Здесь все были одеты аккуратно, и если мужчина был в пиджаке, то воротничок рубашки был у него подвязан галстуком. И пьяные на этих торцах не валялись, их, пьяных, кажется и не было в Друскенинкой вовсе.

И тем не менее Любви было страшно. Потому что местные жители их, приезжих, как бы не замечали. Нет, проявлений ненависти «к нам, русским», на которую жаловались возвращающиеся из Прибалтики в гарнизон офицерские жены, той ненависти, которая нам отравляет наши вакансии в столь соблазнительной троице микрореспублик — Литва, Латвия, Эстония, — к ним не было. Их — Александра и Любовь — просто-напросто не замечали. Не то, чтобы делали вид, афишируя незамечание, чтобы тем самым оскорбить, — а просто не было их для литовцев. Перед ними — как оброк отдавая требовательной пустоте — выкладывали тминный хлеб на прилавок. Вливали в их эмалированный, еще из Питера, бидончик добросовестный ковш густого литовского молока. Но смотрели при этом — насквозь. Так, что перед этими глазами мы зябко ощущали себя, как в фотоателье, — фигурным контуром пустоты. И нас тянуло, подмывало оглянуться, чтобы увидеть то, на что смотрели так сосредоточенно, так не мигая льдисто-прозрачные глаза.

— Это невыносимо, — говорила Любовь своей новой знакомой. — Не знаю, как вы, Мирра Израилевна, но я себя чувствую здесь, как из потустороннего царства. Как призрак среди живых.

— Мы и есть оттуда, — отвечала горбунья, посмеиваясь тихонько. — Из потустороннего...

И брала его маму, стройную красавицу с гордо поставленной шейкой, и уводила вперед, чтобы открыть ей нечто, что не для его детских ушей, и Александр, заложив руки за спину, плелся за ними заброшенной кладбищенской аллеей.

Вентилируя легкие «просто божественным» воздухом Друскенинкой, который здесь, на кладбище, был по-особенному чист и

легко, от прогулки к прогулке они открывались друг другу.

Постепенно, не без оглядки, вопреки страху и чувству вины от оглашения, пусть и полушепотом, среди немного мрамора, обстоятельств жизни, уже каждой из них прожитой наполовину, в итоге которой одна «как была, так и осталась *никем*», а другая, горбунья, пала до уровня ботанички в средней школе, что на улице Восстания.

— В стране, история которой извращена до самых до корней, каждый из нас, — говорила она, — тем не менее обладает своей собственной, за истинность которой может поручиться, и заплатить тоже — в случае огласки. Ибо разве не является у нас строжайшей государственной тайной история самого ничтожного из подданных? Да, Николай Островский всей истовостью догнивания засвидетельствовал: жизнь дается только раз... Но внутри наших границ, добавила бы я, она дается *без права оглашения*. За содержание ее, однако, преданное немоте, государство это не отвечает. Заранее слагает с себя всякую ответственность — как ресторан сомнительной репутации, не отвечающий за сданные в гардероб драгоценности. То есть, нас с тобой обобрали, унизили, да что там уж! *разбили жизнь!* Единожды, — ты посмотри на этот мрамор, — последний в вечности раз данную... И что ж? Кому за это предъявить претензию? Некому, Любовь моя. Дверь заперта. Администрация умыла руки. Глотайте молча вашу скорбь. Так что же делать? Успокоиться? *Во Боже* — вот, как эта пани, добровольно ушедшая от своего законного сангвиника, его псовой охоты и, прости, анальных притязаний? Ты посмотри, какой ей склеп отгрохал! Позавидовать можно.

Они смеялись сдержанно. За это счастье уйти под белый мрамор вряд ли отдали бы они, красавица с горбуньей, всю сумму своих бед и этот смех, и ропот кроткий... А эту радость, эту муку — довериться сполна Любви? От одного присутствия которой горбунья обмякала и таяла, как лед, а уж от соприкосновений — так просто слабела в коленках так постыдно, что торопилась вниз, на обомшелую скамью — прохладным мрамором умерить страсть. О, эта слабость, этот обморок! Даже профессиональный настрой на всерасщепляющий мозговой холодок не мог умерить естества, а ведь она была еще совсем недавно ученым, кандидатом биологических наук — до того, как с нее «сорвали маску», уличив в измене диамату...

Приближался Александр — сын.

Ревниво отмечая, что приближение его оставляет Любовь равнодушной, присаживался рядом с мамой, которая безвольно обольщалась темными речами этой ведьмы — отнюдь не доброй.

А чем еще, скажи на милость, брать таких красавиц?

Их только интеллектом.

*

— Не говоря уже о внешних данных, — иронизировала над собой горбунья, — моя фамилия на *штейн*, о чем, и не красней, ты, несомненно, догадалась. Окончив с золотой медалью — куда мне было деться? Ушла в науку. С головой. Не в ту, что нужно бы — в науку о живом... Ты стала женщиной когда?

— Я? — Отчего-то мама смутилась. — Я преждевременно. В 15.

— И я тогда же. Джульетта нас опередила, да? У нас был в классе мальчик — золотая голова и, кстати, русский. На почве общих интересов мы как-то незаметно потеряли голову и... — Женщины снисходительно посмеялись. — Нет, он не женился на другой, но и меня в жены тоже, разумеется, не взял. Так, являлся. С пирожными из «Норда»... Он высоко взлетел, куда выше, чем я, рядовая тягловая лошадь. Поэтому в Сорок Восьмом, когда проклятый азиат спустил на нас свору псов во главе с Лысенко, его ничто не спасло. Даже орден, который ему дали за пенициллин во время войны. Арестовали и...

Мамина рука легла на колено горбуньи. — Неужели?

— Увы. Только в прошлом году пришло оттуда извещение, что он погиб еще в Сорок Девятом. Скоропостижно умер от инфаркта...

— Большое сердце было?

— Большое?! Оно было у него, как авиамотор! Не будь наивной, Любочка. Вспомни Горького: «если враг не сдастся — его уничтожают». Обычно на допросах. Коваными сапогами.

Мама обернулась к нему:

— Ты не хочешь побегать?

— Нет, — мотнул головой Александр.

— Мне повезло, — продолжила горбунья. — Благодаря братцу который в свое время выбрал ядерную физику. В эпоху наступления материализма на всех фронтах что, кроме мозгов, способно нас спасти — которые на *штейн*? Его мозги, конечно, строго засекреченные, спасли меня, когда срывали маски с иудеев. Я избежала ареста, меня даже из Ленинграда не выслали, и более того — разрешили работать по специальности. Ботаничкой в школе. Так вот и смущаю половозрелых пионеров тычинками да пестиками... Ценой измены.

— Чему?

— Тому, за что любовник мой погиб под сапогами. *Идеализму*. Я ведь отрелась. И мне теперь гореть в аду. Не понимаешь?

Мама, виновато пожав плечами, вновь оглянулась на сына, мгновенно напустившего на себя безучастно-скучающий вид; он даже заболтал ногами в траве...

— И я не понимаю. — Горбунья расстегнула ридикюльчик, достала пачку «Беломора» и предложила маме, которая отказалась.

Отлетела обгорелая спичка, потянуло дымком... — Мои лоботрясы-шестиклассники схватывают на лету, но сама я ни понять, ни принять не могу. Не теорию, не практику мутации — себя, нелюбимую, принять не в состоянии... О Павлове ты слышала?

— А как же? Бедные собачки!..

— И о Мичурине, конечно?

— Яблоки с грушами скрещивал... Великий преобразователь...

Александр пришел на помощь маме, воспроизведя на память цитату с задней обложке его школьных тетрадок:

— *Мы не можем ждать милостей от природы; взять их у нее наша задача!*

— Садись, пять, — съязвила обидно горбунья.. — Если ты поймешь, Любовь, что эта вот формула, вбитая в мозги каждому ребенку в этой стране, под *природой* имеет в виду не столько яблоки с грушами, сколько фрукт неизмеримо более аппетитный, то ты поймешь все... Человека!

— Более *аппетитный*?.. — Мама оторопела.

— Ну да, для людоедов, — столь естественным тоном произнесла горбунья, что конвульсия ужаса на миг свела ему лопатки. — Дело в том, что брошен вызов самим началам: *изменить* человека. Всю человеческую природу вообще. Причем — в самые сжатые сроки. То, чего не удавалось никому в течение тысяч лет, необходимо выполнить, как пятилетку: в четыре года! А ты не смейся, не смейся. С этой задачей уже во многом справились. Какое, милая, у нас тысячелетие на дворе? Всего второе. А от Октября — всего-то навсего идет Тридцать Девятая годовщина. А мы? Между Сократом и Толстым две тысячи лет, но разве не нашли бы они общий язык? Нашли бы — риторический вопрос. Тем более, что Лев Николаич древнегреческим владел... Но представь себе встречу Толстого с таким, скажем, властителем дум, как Фадеев Александр, — твой тезка, кстати, — или кто там сейчас на роли маленького сталина в литературе?.. Под активным воздействием окружающей среды мы уже изменились.

Качественно! Но им — им хотелось бы иметь гарантии в необратимости нашей мутации к худшему. В чем Павлов с Мичуриным их горячо и уверили. Один — что нам привитое собачье истечение слюны становится врожденным вот уже у них, — кивнула она на Александра, который возненавидел ее сразу так, что язык высох. — Ну, а другой, седобородый бес в Эдеме, — что вполне возможно преодолеть залог всего живого — консерватизм. Заверил их, что можно наладить серийное производство *прогрессивных* злаков, овощей, ну, и грядущих поколений... По технологии направленной изменчивости. Откуда и куда бы она направлялась — тут нам все ясно. Людоед уж потирал ручонки — как вдруг обломал

зубы на генетике, о которой ты, Любовь, скорее всего, и слыхом не слыхивала; нет?

Вздых мамы, красавицы-домохозяйки...

— Но слышала, конечно, о трехголовой гидре сионизма — Вейсман-Мендель-Морган?

— Так ведь во всех газетах было!.. Но в чем там суть, это как-то до меня, уж прости, не дошло.

— Суть? — взвизгнула горбунья. — В том, что они обосновали неугодную людоедам теорию *постоянства* человеческой природы. Ядро которой, наследуемое и по наследству передаваемое, неразложимо, Любушка моя, не-раз-ло-жимо, — со сладострастием каким-то повторяла ученая ведьма... — Ясно, что Величайшего Эволюциониста Всех Времен и Народов, всех нас переболтавших в своей колбе, в деле извлечения этого гомункулуса, н о в о г о ч е л о в е к а, вдохновить эта теория не могла. И он заставил нас, одних затоптав, других, как вот меня, на собственном примере, убедиться в правоте направленной изменчивости. Я изменила. Отреклась. Слюну пустила, как собачка Павлова. Рожать я, правда, не собираюсь, да и не от кого, так что мне привитые рефлексы со мной и подохнут. Врожденными, благодаря мне, стать не смогут. Что же до грядущих поколений, то, как говорится, будем посмотреть. Им — жить!

И горбунья мстительно усмехнулась Александру в лицо, который опомнился и закрыл рот: темны, но, признаться, тревожно заораживающи были эти речи в тени перед заросшим папоротником белого скульптурного надгробья неизвестно кому — со скорбящей Маткой Бозкой, вокруг склоненной головы которой, выпирая из мрамора ягодицами, вились беспомощные ангелочки.

Июнь выдался зябкий. Встречаясь поутру у минерального источника, чтобы набрать целебной литовской воды в бутылки темно-рыжего стекла (они хитроумно застегивались на еще польские фаянсовые пробки, сбереженные от прежней жизни рачительным хозяином-литовцем), соотечественницы так и не могли решиться на пляж, где надо раздеваться, и снова возвращались на заброшенное кладбище, где, взявшись под руки, часами бродили, исповедуясь порусски среди стершегося золота латинской письменности на постаментах.

Кресты, памятники, склепы фамильных гробниц — это был целый некрополь под скрипом сосен в бузине, покинутый город, превратившийся оттого, что давным-давно здесь никого не хоронили, в памятник о том, что это означало прежде — кладбище. То ли людей умирало неизмеримо меньше в то исчезнувшее задолго до появления Александра время, но всякий здесь, не только знать, но и трехлетняя девочка чиновника низшего ранга Анджеевского, был удостоен мрамора, который, глядя снизу полуистершимися именами,

безмолвно намекал на то, что прах под ним во времена оно содержал нечто и вовсе не имеющее цены.

Не потому ли Смерть в то время была столь требовательна к живым?

Расхаживая следом за слипшимися фигурками женщин, он вспоминал концлагерь для советских военнопленных под Пяскувом, где стоял их гарнизон, заброшенные бараки, пустые вокруг них столбы, с которых крестьяне постепенно сматывали колючую проволоку на свои хозяйственные нужды, и кочковатый луг под Гатчиной, могилы кочек, уходящие к горизонту, березовыми крестами с которых отапливалась округа, и бесконечные фанерные призмочки, увенчанные пятиконечными латунными звездами, — над братскими могилами наших, — и вдруг, уже перед отъездом, понял: это Смерть здесь умерла. Давным-давно. Так, что само воспоминание о том, что Смерть когда-то существовала, утонуло в папоротнике, заплыло бузиной — как это кладбище в Друсkenинкай, где ее схоронили, может, здесь вот, может, там, а может — в самой свежей из за месяц повстречавшихся могил, где лежал некто столетний, тихо угасший в день 28 июня 1914-го, — сорок два года назад.

Кто там на самом деле истлел под ржавым кружевным крестом, этого даже горбунья не смогла расшифровать, хотя выбитую на камне эпитафию с мертвого языка перевела:

ВОЗЛЮБЛЕННЫЕ!
МЫ ТЕПЕРЬ ДЕТИ БОЖИИ, НО ЕЩЕ НЕ ОТКРЫЛОСЬ,
ЧТО БУДЕМ...

Мама поежилась, кутаясь в свою пеструю вязаную кофту, и от шепота ее Александра тоже пробрал озноб:

— Это как же надо понимать?

Как бы показывая, что и ее ученость имеет пределы, горбунья комически вознесла руки.

Высоко над ними шумели сосны.

С ночи задувший норд-ост усиливался, и в последнее их утро в этой стране даже здесь, глубоко внизу, пронизывало насквозь, а вслед им консервно как-то, свалочно тренькала жесть покрытых ржавью и дрожащих на ветру поминальных венков.

Париж, 1983

СОДЕРЖАНИЕ

I

<i>В начале было слово</i>	9
<i>Ее розовые трусы</i>	13
<i>Атрибуты</i>	17
<i>Покушение на представителей власти</i>	19
<i>Голые женщины</i>	27
<i>Весна</i>	35
<i>Зимний дворец</i>	37
<i>Свадьба</i>	45
<i>Красная армия всех сильнее</i>	51
<i>Рысь</i>	55
<i>Ленинградская ночь</i>	63
<i>Ловля налимов</i>	67
<i>Страна Александра</i>	73

II

<i>Фигурное катание</i>	79
<i>Пистолет</i>	83
<i>Уличное движение в Пяскуве</i>	87
<i>Урок чистописания</i>	93
<i>Гарнизон у западных границ</i>	97
<i>Круг чтения</i>	105
<i>Образ врага</i>	109
<i>Генерал кавалерии</i>	115
<i>Кладбище в Друскенинкай</i>	123

Сергей Юрьенен родился в 1948 г. в Германии. Жил в Советском Союзе, работал в журнале «Дружба народов». В 1977 г. в издательстве «Советский писатель» вышла его первая книга, сборник рассказов «По пути к дому». В том же году членом Союза писателей уехал на Запад. В 1984 г. вышел его первый роман «Вольный стрелок», Париж-Нью-Йорк, «Третья волна»; в 1986 г. в том же издательстве выпущена книга «Нарушитель границы». Книги изданы на французском, немецком и английском языках.

«Юрьенен, кажется, «начал» еще до эмиграции, десять лет назад, споровился даже с первой книжечкой вступить в Союз писателей, но это не принесло ему тогда ни официального, ни либерального признания: это не было его истинным началом, для истинного начала он отправился за рубеж.

«Вольный стрелок» сразу ставит Юрьенена в первую линию его литературного поколения.

...Я думаю, появившись такой роман в порядках современной американской литературы, вызвал бы порядочную сенсацию».

*Василий Аксенов
«Обозрение», 1986 г.*